ВСЕ ЭТО ВМЕСТИЛА ОДНА ЖИЗНЬ

Б. Г. КУЗНЕЦОВ: ИСТОРИК, ФИЛОСОФ И СОЦИОЛОГ НАУКИ

Содержание

Представление Б. Г. Кузнецова 8

Введение 10

Первые 30 лет жизни: успешный, но незавершенный поиск себя 16

Предвоенное десятилетие. Понимание будущего потребовало обращения к прошлому 26

Конец 1930-х. В.И. Вернадский о Б. Г. Кузнецове 33

Война и становление историка науки 39

Б.Г. Кузнецов – путешественник через эпохи 42

За победой должна была следовать свобода... 47

Письмо Сталину: это всегда был и знак надежды, и шаг отчаяния 51

Социология науки как инструмент самопознания науки 55

В плену его человеческого обаяния 57

Литература 62

Предпринимается попытка рассмотреть жизнь и творчество известного советского историка науки Бориса Григорьевича Кузнецова. В основании данного текста лежит моя статья: «И это все вместила одна жизнь. Б. Г. Кузнецов: историк, философ и социолог», опубликованная в «Телескоп: журнал социологических и маркетинговых исследований. 2016. № 3 и 4, и серии постов на сайте «Гефтер.ру».

Автор благодарен А. Арефьеву, Н. Ащеуловой, Л. Виссон, Г. Горелик, М. Илле, Е. Мамчур А. Мессереру, Д. Тайцу, С. Филоновичу, О. Хазовой, И. Чечель, Ф. Шереги и архиву Института истории естествознания и техники РАН за помощь в сборе материалов о жизни и творчестве Б. Г. Кузнецова и при публикации статей о нем.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ Б. Г. КУЗНЕЦОВА

Уже полтора десятилетия я занимаюсь историко-социологическими исследованиями и не раз писал, что методология моего проекта и стилистика текстов во многом обусловлены влиянием на меня работ и личности Бориса Григорьевича Кузнецова (1903–1984). И вот настало время рассказать о нем. Такое решение вызвано не только личным желанием, но и значительно более важными общенауч-ными обстоятельствами.

Во-первых, уверен, труды Б. Г. Кузнецова по истории и философии энергетики, физики, науки в целом имеют общеметодологическое значение, и потому их освоение может быть полезным при изучении истории социологии.

Во-вторых, современное прочтение его работ прежде всего, касающихся анализа генезиса, ценностей и идеалов науки, а также написанные им книги о выдающихся ученых позволяет утверждать, что в них Б. Г. Кузнецов предстает не только как историк и философ науки, но и как социолог науки и научного творчества. Таким образом, расширяется наше понимание истории советской/российской социологии.

Не считая себя вправе оценивать сделанное Б. Г. Кузнецовым в области истории науки, я приведу мнения экспертов.

Известные специалисты высоко оценивают труды Б. Г. Кузнецова по истории науки. Приведу фрагмент поздравления Международной Академии по истории науки с его 60-летием:

«...Историки науки во всем мире высоко ценят его замечательные работы, в которых соединяются глубина и оригинальность анализа, скрупулезное изучение фактов, широта поставленных проблем и блеск изложения. Такие книги Бориса Кузнецова, как “Принципы классической физики”, “Эволюция картины мира”, “Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике” и другие получили единогласное признание среди специалистов, а монография “Эйнштейн” привлекла к истории релятивизма и науки в целом внимание очень широких кругов» (1963, текст подписан Генри Герлаком (Henry Guerlac), президентом *Académie Internationale d'Histoire des Sciences*, и Александром Койре (Alexandre Koyré).

В содержательной статье В. Я. Френкеля о Б. Г. Кузнецове: «Высоких званий не имел, но было имя» приведено обращение академиков И. Е. Тамма, Я. Б. Зельдовича и В. А. Фока к Президенту АН СССР М. В. Келдышу с предложением открыть на ближайших выборах в Академию Наук вакансию по истории науки и избрать на нее Б. Г. Кузнецова. Френкель обнаружил это письмо в архиве ИИЕТ и отметил отсутствие на нем даты; сам он отнес его к середине 60-х. [1, с.904]:

> Глубокоуважаемый Мстислав Всеволодович!
>
> В течение ряда лет наша Академия наук, в отличие от других академий, не имела в своем составе специалистов по истории науки. Дело объясняется отсутствием крупных и общепризнанных работ, которые бы сделали избрание такого специалиста оправданным в глазах ученых. Теперь, как нам кажется, положение изменилось. Речь идет об истории физики. Здесь мы имеем очень глубокие работы, получившие всеобщее признание. Мы полагаем, что не разойдемся с Вами во мнениях, если прямо укажем на работы Б.Г. Кузнецова, посвященные истории принципа относительности и творчеству Эйнштейна. Его мы и имеем в виду, предлагая при ближайших выборах открыть вакансию по истории науки. По-видимому, мнение физиков в этом вопросе будет единодушным, и к ним присоединятся ученые смежных специальностей.

Мои друзья предоставили мне из архива ИИЕТ обращение к М.В. Келдышу, датированное 26 сентября 1968 года. Оно подписано акад. В. А. Фоком, акад. В. В. Париным, чл.-корр. В. И. Гольданским, акад. А. Л. Яншиным и акад. В. И. Попковым. Это – ведущие ученые в тех научных направлениях, история которых освещалась в трудах Б. Г. Кузнецова: физика, естествознание (физиология и геология) и энергетика. Они предлагали, принимая во внимание «выдающиеся заслуги Б.Г. Кузнецова в философском и историческом анализе современного естествознания» и учитывая другие аспекты его деятельности, избрать его в члены-корреспонденты АН СССР по отделению философии и права по специальности: «История и философия естествознания».

В воспоминаниях В.С . Кирсанова, историка науки и многолетнего друга Б. Г. Кузнецова, говорится о том, что в 1987 году, через три года после смерти Кузнецова, пленарная лекция Нобелевского лауреата Ильи Пригожина на Международном конгрессе по логике, философии и методологии науки началась с того, что на экране появились две цитаты, служащие эпиграфом к его лекции, — одна цитата была Эйнштейна, другая Б. Г. Кузнецова. Позднее Пригожин объяснял Кирсанову, что в разговорах с Кузнецовым он «постоянно оказывался в плену его интеллекту-

ального обаяния, которое обладало мощным каталитическим действием». И далее Кирсанов отмечает, что «Пригожин был совсем не одинок в своем отношении к Кузнецову: его высоко ценили многие замечательные люди. За рубежом это был, например, де Бройль, который всегда был рад встретиться с Б.Г., когда тот бывал в Париже <...>; Гейзенберг, присылавший ему свои философские работы <...>; Элен Дюкас — секретарь Эйнштейна; Джеральд Холтон — знаменитый историк физики и многие, многие другие. У нас в стране тоже были выдающиеся учёные, которые высоко ценили его талант и ум, среди них можно назвать таких разных людей, как Иван Матвеевич Виноградов, Отто Юльевич Шмидт, Яков Ильич Френкель, Игорь Евгеньевич Тамм, Евгений Львович Фейнберг — этот список тоже достаточно длинен» [2].

Редактор американского издания книги Б. Г. Кузнецова «Разум и бытие», известный философ истории Роберт Коэн (Robert S. Cohen), основатель Boston University Center for Philosophy and History of Science, знавший Кузнецова и многократно встречавшийся с ним во многих городах мира, так написал о нем: «Борис Кузнецов был ученым среди гуманистов, философом среди ученых, историком, заглядывающим в будущее, оптимистом в век печали. Он был пропитан европейской культурой от ее ранних времен до современного авангарда. И будучи заядлым путешественником во времени, он странствовал сквозь эпохи, беседуя и споря с Аристотелем и Декартом, Гейне и Данте, и с многими другими. Кузнецов был марксистом в присущем ему интеллигентном и рассудительном стиле. Он был также и инженером-практиком, и патриотически настроенным русским евреем в течение первых шестидесяти лет существования СССР» [3, с. xi].

Это все было давно, а вот оценка наследия Б.Г. Кузнецова, сделанная в наше время С.С. Илизаровым, профессиональным историком науки, лично знавшим Б. Г. Кузнецова, изучавшим его работы и знающим характер и содержание историко-научных исследований российских ученых. Он пишет: «После ранения с осени 1944 года и до конца жизни – в АН СССР. С 1952 г. он никогда больше не занимал каких-либо административных постов, что не помешало ему фактически стать лицом советской истории науки перед миром и, наверное, самым переводимым автором на иностранные языки среди коллег по историко-научному цеху. Его роль как выдающегося историки науки в мировом историко-научном сообществе чрезвычайно значима...» [4, с. 100].

Введение

Более двух лет назад петербургский социолог Андрей Алексеев разместил в своем блоге на сайте cogita.ru пост, озаглавленный «Бессмертие мыслителя, как условие и как часть бессмертия научных представлений» [5]. Это была подборка текстов, знакомящих читателей с жизнью и направлениями исследований Б. Г. Кузнецова, и в частности, там был фрагмент его статьи: «Жизнь Эйнштейна и его бессмертие». Я не скрываю, более того, неоднократно отмечал, что Кузнецов был двоюродным братом моей матери, значит – моим двоюродным дядей. И для меня были неожиданными, но потому еще более приятными слова Алексеева: «Статья Б. Кузнецова об Эйнштейне – прекрасна. Между прочим, если бы не ссылка, я бы счел, что это Ты написал. Степень Вашего созвучия в биографических и науковедческих сюжетах чрезвычайна. (Кому комплимент? Дядюшке или племяннику?)...».

Мои исторические изыскания начались в первых 2000-х с анализа зарождения и развития технологии и культуры американских опросов общественного мнения. Причем работа сразу имела историко-биографическую окрашенность, т.е. и предыстория изучения общественного мнения, и возникновение методов его измерения рассматривались не сами по себе, а как продукт, результат деятельности конкрет-

ных людей. И здесь очевидно, что при изучении генезиса общественного интереса к установкам населения, прежде всего – потребителей, мне приходилось обращаться к биографиям не ученых, аналитиков, их еще не было, а тех деловых людей, успешность бизнеса которых – торговля, реклама, журналистика – определялась знанием, пониманием потребительских и другого рода установок простых американцев. Затем в центре моего внимания оказались биография и наследие Джорджа Гэллапа, основателя научной методологии опросов общественного мнения, и его коллег, стоявших у истоков этой области социальных наук. Поскольку с начала 1970-х до конца 1980-х, я занимался методами сбора и анализа данных об общественном мнении и участвовал во многих опросах населения Ленинграда и Союза, я не испытывал больших сложностей при чтении американской литературы по изучению читательских интересов и первых опытов выборочного изучения установок американского электората, но я довольно быстро ощутил отсутствие опыта анализа биографических материалов. И, естественно, я обратился к книгам Кузнецова, которые на протяжении многих лет читал «просто так», из интереса и которые привез с собой в Америку, не потому, что предполагал заниматься историй науки, а для связи с прошлым. Обращение к этим книгам конечно же стимулировало мои воспоминания о наших с ним беседах у него дома и, как это часто бывает, оживали и общая атмосфера общения с Борисом Григорьевичем (далее – Б.Г.), и его рассказы о текущей работе, и его размышления об истории науки. Содержание перечитываемых книг порождало воспоминания о сказанном Б.Г., а всплывавшие в памяти обрывки разговоров, заставляли заново обращаться к книгам... все это как-то синтезировалось, порождая уже логику моих собственных историко-биографических построений и стиль моего письма.

Через несколько лет к работе по американской тематике добавилось изучение истории советской социологии, и входом в эту новую для меня область стала статья о жизни и исследованиях Б. А. Грушина, который в то время активно развивал свой известный проект «Четыре жизни России». Другими словами, базой нового поиска стал историко-биографический подход, а не, скажем, институциональный или предметный. Обращаясь к прошлому, я не могу сказать, что подобный выбор стал следствием моих долгих размышлений или обсуждений с коллегами, это было интуитивное решение, уже впитавшее в себя проверенное на собственном опыте понимание исследовательской методологии Кузнецова. В его анализе динамики науки – это прежде всего физика – присутствуют, действуют Лукреций, Эпикур и Аристотель, а что касается Галилея, Декарта, Ньютона и Спинозы, то на этом фоне они просто – наши старшие современники. Кроме того, в центре его внимания находились вопросы формирования картины мира, вечные проблемы физики, тогда как я анализировал вопросы значительно более частного характера и изучал жизнь ученых нашего времени, многих из которых я знал на протяжении десятилетий.

Но я сразу исходил из того, что *историологический* (а не историографический) подход к науке Кузнецова и его *био-логическая* (соединение «Био» и «Логос»), а не био-графическая интерпретацию прошлого науки и творчества ученых применимы и при анализе генезиса и развития российской послевоенной социологии. Поясню сказанное фрагментом из биографической книги Кузнецова: «Встречи» [6], которой я буду постоянно обращаться. «Мне больше нравится, – писал Б.Г., – даже не термин «биография», <...>, а один термин, когда-то придуманный Линнеем и давно уже забытый. Великий систематизатор природы в своей классификации, охватывающей не только растения, но и ботаников, нашел место для тех, кто описывает жизнь других ботаников, назвав их «биологами». Конечно, никто уже не откажется от нынешнего смысла слов: «биология» и «биолог» и никто не воскресит

линнеевский термин, но соединение «Логоса» и «Биоса» в термине, обозначающем историка науки, кажется мне очень уместным и соответствующим современным идеалам познания» [6, с. 12].

Кузнецовым написано множество трудов по эволюции физических идей и большое число биографий выдающихся ученых, в них может быть прослежена методология его работы, но он нигде не раскрывал ее, не описывал. И в этом смысле я могу говорить не об использовании его подходов, но лишь о стремлении понять их и действовать в пространстве его исследовательских координат. К примеру, в одной из его последних книг – «Идеалы современной науки» – говорится о спрессованности в настоящем прошлого и будущего, и я помню, как очень давно размышлял о возможных логических, познавательных следствиях этого утверждения. Не это ли стремления понять природу настоящего привели меня в начале моего исторического исследования к понятию «толстого настоящего», лежащего в обосновании моей интерпретации «современности»?

И во многом именно к Кузнецову восходят мое понимание и моя уверенность в том, что главное в науке– исследователь, и потому я достаточно быстро обозначил создаваемую мною картину истории современной советской/российской социологии «человекоцентричной». Эта «человекоцентричность» обнаруживается во многом, и в частности, в том, что важнейшей составляющей моих поисков стали собственно биографические исследования и тексты. Возвращаясь к изучению становления технологии и методологии американских исследований общественного мнения, я отмечу статьи о Джордже Гэллапе, Арчибальде Кроссли, Хедли Кэнтриле, Дэвиде Огилви, Элмо Роупере, Эмиле Хурье и других первопроходцах изучения мнений населения Америки. Эта исследовательская линия четко просматривается и в изучении истории российской социологии. Вслед за статьей о Б. А. Грушине появилась серия разножанровых материалов о социологах разных поколений. Самые крупные по объему – это статьи об: А. Н. Алексееве, Г.С. Батыгине, В. Б. Голофасте, Т. И. Заславской, А. Г. Здравомыслове, И. С. Коне, Б. М. Фирсове, В. Э. Шляпентохе, В. А. Ядове. Позже появились книги: «Джордж Гэллап. Биография и судьба» (2011 г.), «Все мы вышли из “Грушинской шинели”» (2014 г.) и «Мир Владимира Ядова» (2016 г.) (обе эти работы включены в Том 6 настоящей книги). Поскольку в российской социологической литературе нет традиции создания биографических книг об отечественных ученых, известным ориентиром для меня были публикации Кузнецова.

Моя первая попытка указать на влияние работ Б.Г. на формирование методологии моих историко-социологических поисков относится к середине 2007 г. [7]. И несколько лет назад я начал собирать материалы, относящиеся к его биографии, в надежде полнее понять природу, содержание и характер его творчества. В силу многих обстоятельств делается это очень медленно и с большим трудом. Я живу в Америке, а материалы, которые, возможно, не пропали полностью, находятся в Москве. К тому же я никогда не принадлежал к сообществу историков и социологов науки, и не знал, к кому я мог обратиться за помощью. Тем не менее работа продвигалась: мои московские коллеги помогли мне получить некоторую информацию из Института истории естествознания и техники РАН, одним из создателей которого был Б.Г. и в котором проработал около полувека. Так в моем архиве оказалась ценнейшая для биографа информация: «Личный листок по учету кадров», «Автобиография» и Список научных трудов, подписанные Кузнецовым 4 сентября 1968 г. Интернет помог установить контакты с людьми, знавшими Б.Г., и они активно, заинтересованно поделились со мною своими воспоминаниями.

Но все же главный источник именно биографической информации о жизненном пути Б.Г. – это его книги. В подготавливаемом мною списке его публикаций уже более полусотни книг и это, не считая переизданий, переводов на многие языки

и работ, опубликованных на Западе. Первая книга в этом списке – «Об “организационном капитализме”», написанная Кузнецовым совместно с его еще юношеским другом Михаилом Тайцем, – опубликована в 1930 г., последняя – в год его смерти, в 1984 г. Очевидно, даже количественная сторона написанного Кузнецовым – факт не только статистический, но прежде всего – биографический; это показатель его высочайшей включенности в дело и прижизненного признания его творчества. Его коллега и друг, физик В.Я. Френкель, заметил, что в Институте истории естествознания и техники Кузнецов прошел «инверсный путь»: от исполняющего обязанности директора, заведующего сектором и до старшего научного сотрудника.

Поначалу, в опоре на воспоминания Б.Г. о его встречах с В.И. Вернадским, я видел лишь одну причину его высочайшей сосредоточенности на исследованиях по истории и философии науки – «страхе смерти». Ниже будет показано, что под этим Вернадский, а позже Б.Г., понимали невозможность закончить задуманное дело. Но в процессе перечитывания работ Б.Г. мне стало ясно, что «страх смерти» не мог быть главным стимулом, импульсом исследований Б.Г. (скорее всего, и Вернадского). Многократно важнее – *радость познания* и соответственно *радость бытия,* «которую ощущает ученый, когда у него блеснет новая мысль и вместе с ней откроется еще не познанное – предмет новых размышлений. Это момент, когда мыслитель не думает о себе, но вместе с тем ощущает смысл своей жизни» [8, с. 254]. Не могу удержаться, чтобы не подчеркнуть, что эти слова были сказаны Кузнецовым на последней странице его последней книги.

В моем анализе жизни и деятельности человека я выделяю три этапа: предбиография, собственно – биография и постбиография. К первому периоду относится все, характеризующее семью и среду, в которой человек родился. К сожалению, пока мое знание предбиографии Б.Г. весьма поверхностно, но известное мне представлено ниже.

Биография – это все, что происходило с человеком, среда его жизни, коммуникационный мир, направления и результаты его деятельности. Годы жизни Б.Г. вместили очень многое. В 14 лет, то поколение взрослело быстро, он встретил революцию, участвовал в Гражданской и Великой Отечественной войнах, получил высшее техническое, историческое и экономическое образование, принимал активное участие в таких масштабных событиях, как реализация плана ГОЭЛРО и перемещение в 1941 году важнейших промышленных отраслей из Европейской части страны в Зауралье. Он – один из создателей Института истории естествознания и техники РАН, встречался и обсуждал ключевые вопросы истории и будущего науки с выдающимися российскими и зарубежными учеными XX века, многие годы посвятил изучению биографии Эйнштейна, писал о Бруно, Галилее, Ньютоне, Ломоносове, Менделееве и о других крупнейших естествоиспытателях разных времен.

Можно говорить о трех этапах его исследовательской деятельности. Конец 1920-х – первая половина 1930-х: вопросы развития энергетики и история энергетики; вторая половина 1930-х – первая половина 1950-х (исключая годы войны) – российская история естествознания; и далее – до начала 1980-х история и философия науки, прежде всего – физики.

После смерти Б.Г. Кузнецова прошло тридцать лет, по историческим меркам, период небольшой, но все же достаточно заметный, чтобы анализировать его постбиографию и говорить о значении сделанного им. Прежде всего отмечу факт активного освоение историко-философского и общекультурологического наследия Кузнецова, даже беглый обзор содержания интернета обнаруживает множество авторефератов докторских и кандидатских диссертаций, защищавшихся в последние годы по разным направлениям философских исследований, в которых авторы ссылаются на работы Кузнецова. Назову некоторые из них: «Осуществление плана

ГОЭЛРО и электрификация промышленности» и «Методологический анализ проблемных ситуаций в научном познании» (1984 г.), «Философский анализ потенциала науки» и «Поэтическое творчество Микеланджело Буонаротти (Проблемы становления личности автора и героя)» (1990 г), «Проблема причинности: история и теория» (1995 г.), «Этнокультурная обусловленность выбора научной парадигмы: Проблемы энергетики как предмет методологической рефлексии» (1998 г.), «Неклассический образ науки в российской культуре» (2000 г.), «Онтология пространства и времени в теории относительности» (2001 г.), «Проблема синтеза физической картины мира в философии науки XX века» и «Отношение мировоззрения и философии к научной картине мира: феноменолого-герменевтический анализ» (2003), «Проблема неопределённости в структуре философского знания :Онтологический, гносеологический, антропологический аспекты» (2004), «Проблема стиля мышления в научном познании», Философско-гносеологический анализ феномена интуиции», и «Стиль и стилизация в философско-культурологическом контексте» (2006), «Феномен гипотезы в естественнонаучном познании» и «Рецепции представлений о пространстве и времени в художественной культуре» (2007 г.), «Квазитеологические концепты картезианской метафизики» (2008 г.), «Становленення та развиток статистной фізики в в Україні (30–60 рр. XX ст.)» и «Поэтика станкового пейзажа. Культурологический анализ» (2009 г.)», «Семиотика языка науки в системном анализе научного знания тема», «Проблема объективности научного знания в развитии познавательной деятельности», «Идея человека в западноевропейской философии» и «Космология в культуре: философско-антропологическое осмысление» (2011 г.), «Эмпирический опыт и его место в познавательной деятельности» (2012 г.), «Учение Б. Спинозы в контексте философских исследований (историко-методологический анализ)» (2013 г.) и другие.

На внимание к наследию Кузнецова указывает и то обстоятельство, что его работы присутствуют в списках рекомендуемой аспирантам и студентам литературы по курсам: «История и философия науки», «История и методология науки», «История физики», «Концепция современного естествознания», «Культурология».

Отмечу также, что мне известно около десяти статей историко-биографической направленности, дающих представление о жизни и работах Кузнецова, прежде всего в области истории науки. Так что сделанное Кузнецовым продолжает интересовать специалистов, с его наследием знакомятся историки науки и философы новых поколений.

И последний, но столь же значимый в рассматриваемом ряду момент – книги Б.Г., не романы и не стихи, а сложные историко-философские работы, востребованы. Так, «Вики» в статье «Кузнецов, Борис Григорьевич», приводит заголовки девяти его книг, переизданных в 2007–2010 гг. И это далеко не все, например, в 2104 г. была переиздана «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии», в 2015 г. – две книги: «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII вв.» и «История философии для физиков и математиков» и еще три – в 2016 г.: «Физика и экономика», «Джордано Бруно и генезис классической науки» и «Эволюция картины мира». И если «Физика и экономика» – небольшая работа (88 стр.), то среди переизданных есть книги, объемом в 350 и более страниц. К тому же «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII вв.» и «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» впервые были изданы в 1955 г. и 1957 гг., т.е. 60 лет назад. Таким образом, кроме всего прочего, Б.Г. можно рассматривать и как ученого, внесшего заметный вклад в популяризацию языка и достижений современной науки, другими словами, – в формирование интеллектуальной культуры российского общества.

И в целом, справедливо сказать, что Б.Г. Кузнецов – ученый не только нашего прошлого, он – и наш современник. Более того, он будет интересен и в будущем.

Я вижу множество целей в работе над биографией Б. Г. Кузнецова. Отмечу лишь три из них.

Во-первых, необходимо подробнее, обстоятельнее, чем это сделано другими авторами, описать жизненную траекторию Б.Г. Она сама по себе уникальна, к тому же, поскольку я давно изучаю феномен «биографичности творчества», я надеюсь, что его биография позже подведет меня к обнаружению пока не известных мне граней этого феномена – одного из мало изученных механизмов научного творчества.

Во-вторых, мне бы хотелось, если не описать, то понять, в чем же был эффект моих бесед с Б.Г. Ведь все они состоялись, когда я не предполагал заниматься историей науки, но влияние они оказали на меня огромное. И замечу, эту его способность отмечали многие.

И третья цель возникла в процессе перечитывания работ Кузнецова, когда я заметил в них то, чего не видели его коллеги и не замечал раньше я. Выше я указал три этапа в исследовательской практике Кузнецова, но так случилось, и это естественно и объяснимо, что в его послевоенных книгах он предстает, прежде всего, как историк и философ науки, и создается впечатление, что таким он «был всегда», и потому не может быть иной точки зрения на его наследие. Но, как показывает историко-биографический анализ, он не был (не мог быть) таким всегда, таким он стал. И важно понять, как это произошло, под влиянием каких обстоятельств. Целостное рассмотрение опубликованного Б.Г. обнаруживает, что он был не только историком и философом науки, но и очень интересным для советского времени социологом науки. Ниже я постараюсь обосновать сделанное утверждение, но сейчас проиллюстрирую сказанное одним примером.

Приведу названия нескольких книг Кузнецова, опубликованных во второй половине 1950-х – первой половине 1960-х.: «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII века» (1955 г.), «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» (1957 г.), «Альберт Эйнштейн. К 80-летию со дня рождения (1959 г.), «Принципы классической физики» (1958), «Принцип относительности в античной, классической и квантовой физике (1959 г.), «Эволюция картины мира» (1961 г.), «Эйнштейн» (1962 г.), «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна» (1963 г.), «Эволюция основных идей электродинамики» (1963 г.), «Физика и *логика» (1964 г.),* «Галилей» (1964), Мировоззрение Эйнштейна и теория относительности (1964 г.), «Этюды об Эйнштейне» (1965 г.), «Очерки физической атомистики XX века» (1966 г.). Все заголовки книг указывают на то, что в них анализируется становление и эволюция современной физики, исследуется творчество выдающихся физиков. Другими словами, очевидна их историко-научная направленность.

Теперь рассмотрим заголовки ряда монографий Кузнецова конца 1960-х – начала 1980-х: «Физика и экономика» (1967 г.), «Пути физической мысли» (1968 г.), «Джордано Бруно и генезис классической науки» (1970 г.), «Прогноз и ретроспекция в генезисе неклассической физики» (1971 г.), «Философия оптимизма» (1972 г.), «Разум и бытие» (1973 г.), «Ценность познания: Очерки современной теории науки», (1975 г.), «Идеи и образы Возрождения. Наука XIV–XVI вв. в свете современной науки» (1979 г.), «Современная наука и философия: Пути фундаментальных исследований и перспективы философии» (1981), «Этюды о меганауке», (1982 г.), «Идеалы современной науки» (1983 г.). Безусловно, здесь тоже присутствует физика, но здесь иной, не «узко» исторический подход, здесь в центре анализа – движение науки, ее генезис, ее ценности и идеалы. А это уже – категории социальной философии и социологии. В своей «итоговой» книге Кузнецов так определил предмет своих

многолетних исследований: «История науки – это тот элемент всеобщей истории, для которого особенно важен критерий ценности, критерий эффекта, критерий воздействия науки на общий необратимый прогресс цивилизации» [8, с. 239].

Отмечу здесь и удивительную, «странную» даже для Б.Г., максимально свободного в своих рассуждениях, книгу «Путешествия через эпохи. Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками» [9]; ниже об этой книге будет рассказано подробнее. В определенном смысле «Мемуары» можно рассматривать в одном ряду с вышедшей в тот же год «Ценность познания», но она сделана в принципиально ином ключе, в иной стилистке. Фантастический сюжет, появление машины времени позволили Кузнецову исключить из своего анализа время как физическую величину, оставив за ним лишь его «социальную насыщенность». Таким образом ему удалось показать вневременной, т.е. независимый от времени характер ценностей и идеалов науки. В частности, книга свидетельствует, что деятельность Кузнецова в начале 1930-х годов по решению проблем электрификации страны можно трактовать как начало его социологического понимания науки. Странно, что на этот аспект работ Б.Г. разных лет не обращали внимание авторы материалов о его жизни и его исследованиях. А ведь социологичность его работ естественна, и не только потому, что он учился и входил в науку в период, когда социологизация была одним из трендов научных исследований, но и потому, что как ученый, историк науки он формировался в кругу Н. И. Бухарина, В. И. Вернадского, Г. М. Кржижановского, Т.И. Райнова, которые в наше время признаются пионерами российской социологии науки. Тема социологичности историко-научных исследований Кузнецова будет обсуждаться ниже.

О научной смелости и независимости Кузнецова говорит факт, приведенный в цитировавшейся выше статье С. С. Илизарова. Во второй половине 1970-х, т.е. задолго до того, как имя Н.И. Бухарина вернулось в нашу культуру, Илизаров изучал прошлое ИИЕТ и чувствовал некую недоговоренность в доступных ему описаниях событий 20–30-х годов. Тогда ему посоветовали поговорить с Б. Г. Кузнецовым, знавшим, что было в довоенное время. И вот, вспоминает Илизаров: «В актовом зале в памятном Старопанском переулке и проходила моя беседа с собеседником В. И. Вернадского [БД: о беседах Кузнецова с Вернадским см. ниже]. У меня сохранился листок с обрывочными записями. Б.Г. Кузнецов безусловно понимал, что перед ним сидит совершенный невежда в тех сюжетах, о которых шла беседа, но по своему обыкновению был терпелив, снисходителен, мягок, улыбчив и доброжелателен» [4, с. 104].

В моем понимании, Б. Г. Кузнецов – один из представителей пока мало известного нам типа «неопознанных», или «нераспознанных», отечественных социологов науки. Очевидно, что в 30–50-е он не мог позиционировать себя в качестве социолога (науки, культуры, времени), а позже, думается мне, советская социология и не признала бы его как социолога. Тогда наша заново рождавшаяся социология не была готова к этому. Но теперь – созрела.

Первые 30 лет жизни: успешный, но незавершенный поиск себя

Рассмотрение периода 1930-х удобнее продолжить после рассказа о нетривиальном по нынешним временам пути Кузнецова к образованию. И что интересно, при ознакомлении с этим сюжетом может сложиться впечатление, что Б.Г. уже в юности знал, кем он будет, и целенаправленно готовил себя к исследованиям по истории науки. А ведь лишь много позже он прочел у Ларисы Рейснер утверждение,

которое он перефразировал следующим образом: «Если у Вас слишком много различных научных склонностей, то еще не все потеряно: Вы можете стать историком науки» [6, с. 34].

В некрологе, написанном В. С. Кирсановым и С. Р. Филоновичем, отмечено: «Исключенный из реального училища за участие в революционном движении, он смог продолжить образование, лишь вернувшись с гражданской войны» [10, с. 111].

У меня нет документального подтверждения этого утверждения, но в силу ряда причин я склонен считать его верным. Раскрою эти причины, в частности, чтобы показать лабораторию, или кухню, моей работы.

Прежде всего, приведенные выше слова кажутся мне правдоподобными, поскольку одним из авторов статьи, в которой я их прочел, был Владимир Семенович Кирсанов, многолетний сотрудник и друг Кузнецова, с детства, знавший его. Он был сыном известного поэта Семена Исааковича Кирсанова (1906–1972), с которым Б.Г. дружил с молодых лет и до смерти поэта.

Была еще одна причина отнестись с доверием к рассматриваемым словам, о ней скажу ниже, а сейчас – о поиске. Я не знал соавтора В. Кирсанова Сергея Ростиславовича Филоновича, но решил поискать информацию о нем в Интернете и попытать связаться с ним. Это оказалось совсем нетрудно, С.Р. Филонович – доктор физико-математических наук, специалист в области истории физики и социолог, декан Высшей школы менеджмента «Высшей школы экономики». Обнаружив это, я 4 марта 2016 года отправил ему «мейл», представился, сообщил, что пишу статью о Б. Г. Кузнецове и спросил его, знал ли он Кузнецова и откуда информация об исключении Б. Г. из реального училища.

Уже 6 марта я получаю ответ, из которого узнаю, что Филоновича связывали с Б.Г. довольно близкие отношения. И далее он сообщает: «Возможно, в одной из бесед с Б.Г. я и узнал об истории, касающейся его исключения из реального училища. Но память несовершенна: вполне возможно, что эта информация исходила от В.С. Кирсанова, который знал Б.Г. с детства. Наконец, самая невероятная гипотеза состоит в том, что об исключении Б.Г. я мог узнать от своего учителя по педагогическому институту им. Ленина, профессора Николая Николаевича Малова, ровесника Б.Г., отец которого, со слов Б.Г., был директором того самого реального училища, где учился Б.Г. Мир тесен!». Да, действительно, «мир тесен».

И вот – третий аргумент в обоснование моего доверия утверждению Кирсанова и Филоновича, оно в целом соотносится с тем, что мне известно из семейной хроники. Я помню дореволюционную на толстом картоне фотографию, на которой изображены два сорванца в мундирчиках реалистов: Борис и Моисей Шапиро. Братья были двойняшками и на протяжении всей жизни сохраняли глубокую дружбу. Еще школьником я знал, что у меня есть два дяди – родные братья и удивлялся, почему один из них – Борис Григорьевич Кузнецов (он жил в Москве), а другой – он тогда был военно-морским инженером и служил в Либаве (теперь – Лиепая, Латвия) – Моисей Соломонович Шапиро. По воспоминаниям моей мамы, в годы Гражданской войны Борис, по совету комиссара отряда или командира (скорее всего, Кузнецова) сменил еврейскую фамилию Шапиро на русскую Кузнецов и отчество Соломонович на Григорьевич. Вряд ли это спасло бы его, окажись он в плену у махновцев, но все же было не столь вызывающим. При этом он не менял своей национальности, в «Личном листке по учету кадров» указано – еврей.

Некоторые данные из «Личного листка» будут приведены ниже, но прежде всего обратимся к воспоминаниям Б.Г, вкрапленным в названные выше «Мемуары». В них – о ранних, доинститутских годах, о первых годах освоения серьезной культуры. А по сути, о несравненно большем, о зачатках того, что нашло отражение во всей жизни Кузнецова и в его научных поисках.

«Когда мне было десять, – вспоминал Кузнецов, – случайно прочитанная популярная книга о математике стала источником сильного эмоционального эффекта. <…> В книге обсуждался смысл дифференциального исчисления, причем довольно глубоко» [9, с. 9]. Что здесь можно сказать? Допускаю, что книга по дифференциальному исчислению попала в руки подростка случайно, но ведь не каждый подросток откроет ее, заглянет в нее, тем более, начнет вчитываться. Похоже, в сознании мальчика уже существовала некая установка на получение этого вида информации и на усвоение ее. Иными словами, он ее искал, потому она и «нашлась».

«Первым этапом литературного образования, – пишет Кузнецов, – было чтение Достоевского. После беседы Ивана Карамазова с Алешей, после монолога Ивана о судьбе замученных детей, о гибели и горе, которые не может возместить никакая, даже «неэвклидова» вселенная гармония, я стал по-иному воспринимать коллизию Всего и индивидуального. <…> Этот этап литературного «сентиментального воспитания» был подготовкой следующего, который, собственно и был переходом от отрочества к юности. Я познакомился с учением Маркса. Мне хочется рассказать о его роли в моем «сентиментальном воспитании». Я понял, что штирнеровский «единственный» (изучение Маркса началось с «Немецкой идеологии») – это иллюзия, что человек вне общества так же нереален, как нереально *здесь-теперь* без *вне-здесь-теперь*, я почувствовал человеческую солидарность как условие человеческого бытия. Следующим этапом «сентиментального воспитания» было знакомство с творчеством Эйнштейна. Повторяю; «сентиментального воспитания», воспитание чувств. Сейчас я уже плохо помню детали последовательного изучения теории относительности, но хорошо помню эмоциональный эффект этого изучения» [9, с. 100–101]. Весьма интересно, как все сказанное Кузнецовым о «сентиментальном воспитании» вросло в его взрослую жизнь и профессиональные размышления. Эпиграфом к главе «Достоевский и Моцарт» в самой известной книге Кузнецова «Эйнштейн» служат слова Эйнштейна «Достоевский дает мне больше, чем любой мыслитель, больше, чем Гаусс?». И Кузнецов пояснял, что речь шла не о логических импульсах к поиску гармонии мира, но о психологических [11, с. 92].

Слева: Моисей Шапиро, Борис Кузнецов
Конец 1940-х – начало 1950-х

Продолжая тему «сентиментального воспитания», остановимся на воспоминаниях Б.Г. о значении работ В.И. Ленина на развитие его собственных научных интересов и гражданского самоощущения, а также на отношение к ним, Кузнецов писал – его поколения, наверное, точнее – его окружения. Он вспоминал: «Прочитав каждое новое произведение Ленина, люди становились не только образованней, но и во всех отношениях свободней, их сознание еще больше заполнялось интересом целого. Для моего поколения к этому прибавлялось нетерпение, с которым мы раскрывали страницы с новыми

выступлениями Ленина, прибавлялось также труднопередаваемое ощущение одновременности нашего пребывания на земле с жизнью Ленина» [9, с. 105]. Сегодня многим молодым читателям с трудом верится в приведенные слова, но я встречал и помню людей этой когорты, рожденных в первые годы XX столетия, участвовавших в Гражданской войне и в решении крупных социально-технологических проблем, по велению сердца становившихся большевиками. И через десятилетия, даже пройдя через многие испытания, они оставались верными идеалам своей юности и молодости.

И далее, очень важное для понимания высочайшей степени включенности Кузнецова в разработку проблем электрификации страны и плодотворности всей его деятельности сначала в энергетике, а затем в исследовании эволюции физики. «Уже в 20-е годы я почувствовал единство того, что меня занимало,– интереса к теории относительности и интереса к общественным идеям и проблемам. Прочитав письмо В. И. Ленина Г. М. Кржижановскому о плане электрификации и затем выступление Ленина, посвященное плану ГОЭЛРО, я почувствовал, каким мощным рычагом преобразования общественных отношений становится классическая наука. План электрификации был воплощением классической науки, комплексным планом реализации того, что позволяла сделать классическая термодинамика, классическая электродинамика, классическая электронная теория. Но план ГОЭЛРО вызывал в сознании картину дальнейшего прогресса [9, с. 105–106].

Процесс получения Б.Г. высшего образования отражен в его «Личном листке». В 1920 году он поступил на электротехнический факультет Политехнического института в Днепропетровске (до 1926 года город назывался Екатеринославом), который закончил в 1925 году. Практически одновременно, с 1922 по 1927 годы, он учился на историческом факультете Университета в Днепропетровске. Другими словами, уже в ранней молодости Кузнецова привлекали к себе физика и техника, а также – история.

Что еще вместили в себя эти годы? С марта 1921 по октябрь 1922 гг. Кузнецов, лишь в октябре 1923 года ему исполнится 20 лет, служил помощником начальника учебной части 33 пехотных курсов. Возможно, этот факт подтверждает то, что у него был некий опыт участия в боевых операциях, так как трудно допустить, чтобы молодых бойцов обучал человек совсем «со стороны». С октября 1922 до августа 1924 гг. он – лектор одного из райкомов КП(б) Украины. Возможно, там он был принят кандидатом в члены Коммунистической партии. Затем три года, с августа 1924 по июль 1927 гг., Кузнецов, будучи еще студентом двух ВУЗов, работал преподавателем Совпартшколы, и в 1925 году он становится членом КП(б) Украины. Обратитесь к биографиям видных советских ученых, инженеров, руководителей крупных предприятий и отраслей, родившихся в первые годы прошлого века. Там будет примерно такой же жизненный старт. И в этом отношении биография Б.Г. – типична для молодых интеллектуалов его поколения.

Окончив университет, вчерашний студент и одновременно – опытный преподаватель, Кузнецов уезжает в Москву, где в 1927–1930 гг. он обучался в аспирантуре Экономического института Российской ассоциации научно-исследовательских институтов общественных наук (РАНИОН). При этом практически все это время Б.Г. преподавал в Промакадемии, вскоре ставшей кузницей ранней советской номенклатуры.

Итак, «десятилетка» (1920–1930 гг.) Кузнецова была более, чем интенсивной и эффективной в плане накопления и передачи знаний. Он входил в нее – провинциальным юношей, влекомым идеями о коммунизме, еще до революции читавшим Маркса и книгу по экономике известного народовольца А.Н. Баха (об это – ниже) и увлекавшимся идеями М. А. Бакунина. И он завершил ее молодым московским интеллигентом, ориентировавшимся во многих вопросах математики, физики и техники, истории и экономики. Добавлю, мама Бориса и Моисея (дома – Муся),

Анна Марковна Шапиро родилась в 1870 г., подчеркивала, что была ровесницей Ленина, прожила почти сто лет и всегда сохраняла отличную память. Она училась во Франции или Бельгии, в совершенстве знала французский язык и всегда на ее столике у кровати была какая-либо французская книга. Мне запомнился один разговор с ней, она тогда читала первое издание книги Кузнецова «Эйнштейн» и сказал мне: «Я всегда знала, что Муся очень хорошо пишет, но, оказывается, Боря – тоже».

Мама обучила сыновей французскому языку, и Б.Г. всю жизнь был франкоманом, любил и знал французскую историю и культуру. Это способствовало тому, что уже в послевоенный период он обсуждал серьезнейшие научные и гуманистические проблемы с Фредериком Жолио-Кюри и Луи де Бройлем, дружил с Александром Койре и Ильей Пригожиным, которым, несмотря на их русские корни, много легче было говорить по-французски. В добрых отношениях он был также с Эльзой Триоле и Луи Арагоном.

И он очень любил Париж. Это чувствуется даже в мелодии короткого отрывка из упоминавшейся выше книги Кузнецова «Путешествия через эпохи». Опустим фантастичность ситуации и слова Б.Г. о том, что в темном ночном Веймаре, прокручивая в сознании только что состоявшуюся у него беседу с Гете, он вспомнил об одном солнечном парижском утре. Сосредоточимся на самом «воспоминании»: «Это было воспоминание о будущем, о конце 40-х годов XX века. Я стоял на мосту Сен-Мишель рядом с Фредериком Жолио-Кюри, и мы смотрели поочередно то на восток, в сторону Нотр-Дам, то на запад – на корпуса Пале де Жюстис и Лувра. Дальше трудно было различить набережную, деревья и дома. Солнце только встало и еще не разогнало туман. Туман превращал пейзаж Парижа в нечто крайне фантастическое...» [9, с. 136–137].

В аспирантуре РАНИОН Кузнецов учился одновременно с будущим известным историком Великой Французской революции и биографом Наполеона А.З. Манфредом. Они поселились в одной комнате общежития, и их знание социально-политической истории Франции, их любовь к культуре этой страны, Манфред с раннего детства прекрасно знал французский язык, соединили их на всю жизнь [6, с. 65–74].

Внимание Кузнецова к развитию французской науки просматривается на протяжении всей его жизни. В 1937 году он опубликовал в «Правде» статью «Декарт и русская наука» [12], а через 30 лет – совместно с известным историком науки И.Б. Погребысским – книгу «Французская наука и современная физика» (1967 г.).

Пытаясь восстановить более, чем столетней давности события в жизни Б.Г. Кузнецова, приходится обращать внимание на при первом прочтении мало заметные факты, приведенные в его единственной биографической книге «Встречи» [1], в которой, к тому же, не он – главный герой, а его собеседники, встречи с которыми он вспоминает. Так, при описании обстоятельной беседы с известным народовольцем академиком Николаем Александровичем Морозовым, Б.Г. вспоминает о крупном ученом и революционере академике Алексее Николаевиче Бахе, который был лишь немного младше Морозова. С Бахом Кузнецов часто встречался перед войной, поскольку сотрудничал с ним в редакции одного из научных журналов. И вот здесь-то Б.Г., имея в виду Баха, мимоходом замечает: «Его революционную, экономическую брошюру я читал еще в детстве, до революции <...>» [6, с. 46].

Скорее всего, именно эта книга породила интерес Кузнецова к экономике, который он сохранял на протяжении всей жизни. В книге «Физика и экономика» (1967 г.) он писал: «С самой ранней юности (а она начиналась у нашего поколения в отроческие годы) меня увлекали экономические проблемы электрификации и проблемы теоретической физики», и здесь «ранняя юность, совпадающая с отрочеством» коррелирует со словами: «я читал еще в детстве, до революции». Поэтому мне пока-

залось интересным узнать, какую книгу Баха мог читать в юности Кузнецов, и, не зная историю дореволюционной марксистской экономической литературы, мне думалось, что это будет непростая задача. Но я ошибался, у Баха до революции вышла лишь одна такая книга, а после революции, вернувшись из многолетней эмиграции, он занимался в основном исследованиями в области биохимии.

Речь идет о брошюре «Царь-голодъ», впервые вышедшей в 1883 году, в ней Бах обобщил содержание своих лекций для рабочих по основам экономического учения К. Маркса. В качестве названия книги использованы две строки из поэмы Н.А. Некрасова «Железная дорога»: «В мире есть царь: этот царь беспощаден, / Голод названье ему”. Книга выходила под указанным названием с подзаголовком «Экономические очерки» или просто – «Экономические очерки». В электронном каталоге Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге приводятся библиографические карточки на свыше 20 изданий брошюры в России: Санкт-Петербург (позже – Петроград), Москва, Одесса. Самара, Смоленск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Гельсингфорс (после 1917 г. – Хельсинки) и за границей: Берлин, Женева. Участвуя в революционном движении, как отмечают Кирсанов и Филонович, братьям было несложно ознакомиться с содержанием этой работы.

Вообще, анализируя биографию Кузнецова, неожиданно обнаруживаешь, что та его первая, заочная встреча с Бахом фактически проложила путь Б.Г. к деловому и человеческому общению с выдающимися русскими исследователями, успевшими добиться значительных успехов в избранных ими научных направлениях еще до Революции 1917 года и оставшихся в стране (или вернувшихся в страну), чтобы как ученые и граждане содействовать строительству нового общества. Так получилось, что уже в ранние годы, только, начиная свои историко-научные поиски, Кузнецов многократно встречался и обсуждал многие ключевые вопросы развития науки с академиками В. И. Вернадским, В. Л. Комаровым, Г. М. Кржижановским, А. Ф. Иоффе и другими выдающимися учеными. Думаю, что это редчайший случай в пространстве научной коммуникации, тем более – межпоколенной. Ведь Б.Г. был значительно младше свои собеседников.

Безусловно, считая мощный профессиональный и гражданский рост Б.Г. его личным достижением, необходимо все же видеть в этом и «поколенческое» начало, он – из той генерации, которая восприняла вызовы революции, времени и быстро взрослела. В качестве примера назову близких друзей Бориса и Моисея трех братьев Тайцев; их дружба началась в ранние 1920-е еще в Екатеринославе. Старший брат, профессор Ной Юриевич Тайц (1896–1974), всю жизнь прожил в Днепропетровске, стал мировой известности металлургом, автором многих учебников, основателем электротермической школы в металлургии. Трагически сложилась судьба среднего брата – Михаила Тайца (1902–1941), он в совершенстве знал французский и немецкий языки, уже в 18 лет вступил в партию. Он много лет работал с А.П. Розенгольцем (1889–1937), крупным военным чиновником правительства В.И.Ленина, полпредом в Великобритании и наркомом внешней торговли СССР. По поручению Розенгольца Михаил Тайц служил в советском посольстве в Германии, отвечая за закупки цветных металлов. Можно допустить, что он хорошо знал экономику, во всяком случае с ним в 1930 г. Кузнецовым была написана его первая книга «Об “организационном капитализме”» [13]. В 1933 г. Михаил Тайц вернулся в Москву и работал в главном центре идеологии ЦК ВКПб: Институте Маркса-Энгельса-Ленина. А далее: 29 июля 1939 года он был арестован и 18 июня 1941 года – расстрелян.

Третий брат – Аркадий Тайц (1906–1995) тоже был металлургом. После окончания института в Донецке работал в Ленинграде в алюминиево-магниевой индустрии, все шло успешно. Но, начиная с 1934–1935 гг., жизнь стала невыно-

симой из-за страха доносов, обвинений во вредительстве или идеологическом преступлении, усмотренном в неточном высказывании. В архиве его сына, Дмитрия Тайца, физика, живущего в Петербурге, сохранились два письма, показывающие, как друзья Аркадия спасали его жизнь. Автором первого – является Б.Г., второго – друг Тайца, всемогущий организатор советской металлургии Петр Фадеевич Ломако.

В Свердловский РК ВКПб

По просьбе А.Ю. Тайца сообщаю, что я в 1923–1927 г. работал в Днепропетровске, хорошо знал его и могу подтвердить, что Манусов, Пятакова и Перлин не являлись его друзьями.
Член ВКПб п.б. 0049336. Организация И-та Ист.Техники
Киевского района г. Москвы. Б. Кузнецов 2/X–1937 г.

Письмо от 15 ноября 1939 г. № Л-791 (с гербом) из «Народного Комиссариата цветной металлургии СССР, на имя А.Ю. Тайца и директора Всесоюзного алюминиево-магниевого института (А. Д. Ходыко):

Предлагаю откомандировать на КМЗ (Урал) сроком до 2-х лет главного инженера проекта т. Тайца А.Ю. для использования на руководящей работе КМЗ.
Заместитель народного комиссара цветной металлургии П.Ломако .

Все и все понимали, распоряжение Ломако было исполнено даже до того, как письмо пришло в Ленинград. Запись в трудовой книжке А.Ю. Тайца: «Освобожден ВАМИ 15 ноября». Приступил к работе на КМЗ (Урал) 15 ноября». Мгновенное «исчезновение» из Ленинграда!

Теперь, развивая утверждение о том, что в 20-е–30-е годы в культуру вошло много талантливой молодежи, рассмотрю еще одну грань коммуникационного пространства Кузнецова. Это поможет лучше представить его внутренний мир и – думаю – приблизиться к раскрытию каких-то сторон его творчества. Конечно, речь не может идти о специфике его собственно историко-научных построений и его трактовках сложнейших вопросов эволюции картины мира. Но, с другой стороны, творчество ученого всегда пронизано какими-то глубокими личностными, интимными воспоминаниями, оно глубоко биографично.

Все, о чем я пишу, было давно, многое потеряно навсегда, но все же, кое-что о жизни Б.Г. в Москве 1930-х (не имеется в виду его работа и собственно деловые связи) еще может быть с той или иной степенью правдоподобия реконструировано.

Из троих братьев Тайцев Б.Г. был наиболее близок с Михаилом, который дружил с поэтом Ильей Сельвинским и, по рассказам знавших его людей, встречался с Маяковским. Не имея пока никаких других «зацепок», допускаю, что именно Михаил познакомил Кузнецова с Семеном Кирсановым. Они были ровесниками, воспитывались в еврейских семьях, оба приехали в Москву из крупных культурных центров Украины (Днепропетровск и Одесса) в середине 1920-х.; «московские дороги» Тайца и Кирсанова вполне могли пересечься.

Мой интерес к истории знакомства Б.Г. и Семена Кирсанова вызван тем, что из этой «точки» можно (мне думается) перейти к освещению некоторых сторон жизни Б.Г., крайне важных для понимания его мира, в частности – круга его московских друзей. Осенью 2015 года мои поиски помогли мне познакомиться с Ольгой Хазовой, вдовой Владимира Кирсанова, сына поэта. В одном из своих писем я спросил ее: «... что могло на протяжении многих лет притягивать Семена Кирсанова и Бориса Кузнецова? Все же они – из разных социальных страт: поэтической (литературной) и академической...». Она написала мне: «Поскольку я много встречалась с Б.Г., меня не удивляет его близость с Семеном Кирсановым. Он не был похож на кабинетного ученого, он был человек тонкого остроумия, шармер, в присутствии женщин вообще не говорил о науке. С Семой они – друзья юности. Когда

Боря возвращался из Германии после войны, он подъехал с друзьями к Большому театру на трофейном «Хорхе» и бросил его там. Ну разве это не говорит о нем?». Но следует заметить, что Кирсанов, признанный первооткрывателем ряда современных направлений русской поэзии, был весьма образованным человеком. По воспоминаниям Ираклия Андроникова, Кирсанов мог со знанием дела говорить с разными людьми на разные темы — и о составе берёзового сока, и о теории относительности, и о многом другом.

В заметке о Семене Кирсанове, размещенной в Вики, сказано, что в 1928 году он женился на актрисе Клавдии Бесхлебных. И далее, Клавдия отличалась общительностью, вызывала симпатию у известных людей. Среди её ближайших друзей были блестящие артисты балета Асаф Мессерер и его сестра Суламифь, легенда советского кинематографа 20-х – Анель Судакевич, известный журналист Михаил Кольцов, художник Александр Тышлер, шахматист Михаил Ботвинник. Клавдия помогла Кирсанову расширить круг знакомых. В воспоминаниях Кузнецова об известном физике Я.И. Френкеле (1894-1952), его расположенности к людям, есть неожиданное воспоминание: «Просто я почувствовал то же, что ощутила Клава Кирсанова, когда увидела Эйнштейна» [6, с. 50]. Когда это было? в связи с чем? Где? – трудно сказать, ясно лишь одно, – до войны, ибо Клавдия Кирсанова умерла от туберкулеза в начале 1937 г., ей было 29 лет.

Ольга Хазова сделала мне драгоценный подарок – она сканировала несколько фотографий, конца 1920-х–начала 1930-х, на которых изображена небольшая молодежная компания, отдыхавшая, возможно в Крыму или на Кавказе. Пока мне не удалось определить всех, кто изображен на них, но и без этого можно утверждать, что это были очень интересные люди. На одной из них – на фоне невысокой горы сидят и стоят восемь человек: четыре молодые женщины и столько же мужчин. Среди известных мне мужчин: молодые Борис Кузнецов и Семен Кирсанов. Определены также три красивые женщины: в первом ряду сидят Суламифь Мессерер и Клавдия Кирсанова, за ними стоят две молодые женщины, одна из них Анель Судакевич. Вот как уже в конце жизни Суламифь Мессерер писала о Судакевич: «Анель была знаменитостью. Актриса немого кино и сногсшибательная красавица, она в то время являлась в СССР национальным идолом, наподобие Шарон Стоун и Джулии Робертс в сегодняшней Америке. Судакевич останавливали даже на пыльных тропинках такого забытого Богом уголка, как Хоста, и просили автограф» [14, с. 46]. А, может быть, эти фотографии и были сделаны в Хосте?

Легко понять, что скучный, зажатый, занудливый человек мог лишь случайно оказаться в таком окружении, но Кузнецов там был «своим».

О Семене Кирсанове, Суламифи Мессерер, Анели Судакевич написано немало, я хотел бы здесь немного сказать лишь о Суламифи, ибо в течение десяти лет она была женой Б.Г. Вполне возможно, что встретились они у Кирсановых.

Суламифь Михайловна Мессерер (1908–2004) – принадлежит к известной семье Мессереров-Плисецких, внесшей большой вклад в развитие советского и российского искусства и культуры. В аннотации к ее книге «Суламифь. Фрагменты воспоминаний» сказано: «Имя замечательной балерины и педагога Суламифи Мессерер навсегда останется в истории русского и мирового балета. Прожив чуть менее века, она была свидетельницей многих событий двадцатого столетия, объездила весь мир, блистала на сцене и воспитывала следующие поколения талантливых артистов, пережила годы сталинских репрессий, личные трагедии, а на восьмом десятке лет решилась круто изменить свою жизнь…». 7 февраля 1980 г. во время гастролей Большого театра в Японии Суламифь Мессерер вместе с сыном попросила политического убежища в Англии.

Суламифь Мессерер была яркой, уникальной личностью. В 1926 году она окончила Московское хореографическое училище и вскоре стала солисткой Большого театра. В 1928 году на Всесоюзной спартакиаде, которая одновременно была и чемпионатом СССР по плаванию, она стала двукратной чемпионкой.

В поисках информации о Суламифи Мессерер я познакомился с ее племянником Азарием Мессерером, журналистом, переводчиком, доктором филологических наук и пианистом, с 1981 г. живущим в Америке. Он сообщил мне ценную информацию о Суламифи и попросил своего кузена Михаила Мессерера (1948 г.р.), ее сына от второго брака, главного балетмейстера Петербургского Михайловского театра, сканировать для меня нескольких страниц воспоминаний своей матери. Вот что писала Суламифь о начале своего замужества:

Балетная критика благосклонно приняла мою Китри. Особенно похвалили богатую гамму ее чувств.

> «...В образе простой испанской девушки, борющейся за свое счастье, Мессерер правдиво и убедительно передавала многообразные чувства своей героини. Здесь и радость встречи с возлюбленным, и вспышка ревности, и горделиво-презрительное отношение к богатому жениху, и притворное отчаяние в сцене инсценированного Базилем самоубийства...».

Критику невдомек, что именно помогало мне в конце 20-х годов «правдиво и убедительно» воссоздать «радость встречи с возлюбленным. А объяснение простое. Я была влюблена.

В 1930 году я вышла замуж за Бориса Кузнецова, приятеля моих старших братьев.

Нижний ряд: Семен Кирсанов, Суламифь Мессерер, Клавдия Кирсанова
Второй ряд: Анель Судакова, неизветная женщина, Борис Кузнецов
Середина 1930-х

> Милейший и добрейший человек, красавец необыкновенный, он занимался экономикой. В свои 26 лет уже стал профессором. Между делом писал книгу о Лобачевском.
> Ни цветов, ни обручальных колец у нас не было. Тогда все это считалось мещанством, мелкобуржуазными пережитками.
> Тем не менее десять лет наш семейный очаг и грел, и радовал нас обоих. Поначалу мы жили в квартире у отца, в моей комнате. О ребенке, правда, в то время не помышляли. Мое имя только восходило на афишах Большого, вводы и новые партии изматывали до предела. Роды могли бы выбить со сцены надолго [14, с. 67].

Теперь – небольшой фрагмент интервью Михаила Мессерера порталу «Деловой Петербург» (20 августа 2012). Он вспоминает конец 1930-х, когда Майя Плисецкая воспитывалась в семье Бориса Кузнецова и Суламифи:

> Мама обожала Майю. Когда ее отца, крупного советского чиновника, расстреляли, а мать отправили в ГУЛАГ, Майя жила у моей мамы, которая ее воспитывала, следила за тем, чтобы девочка продолжала учиться в школе Большого театра. И, когда пришли забирать Майю в детский дом для детей врагов народа, где, разумеется, ни о каком балете не могло быть речи – то есть мир лишился бы великой Плисецкой, – мама легла на пороге: «Через мой труп!» Можете себе представить: в 1938-м! Как сказали маме, единственным законным путем избежать детского дома было усыновить (дурацкое слово, но именно так, а не удочерить) Майю. Что она и сделала. Когда люди открещивались от мужей, жен, родителей, детей, мама ходила и пробивала это усыновление. Мама была героиней! [15].

Безусловно, сказанное в полной мере распространяется именно на Суламифь, но, косвенно, говорит и о Кузнецове. Трудно допустить, чтобы она одна, без какого-либо обсуждения с мужем принимала решение о том, чтобы совсем юная Майя Плисецкая, дочь «врагов народа», жила с ними, и тем более – о ее удочерении.

Закончим наш рассказ фрагментом воспоминаний Суламифь Мессерер о завершении ее семейной жизни с Б.Г.:

> «Большой» вернулся в Москву в 1944-м, а я оказалась в столице раньше. Постепенно возвращались люди из эвакуации. Тогда и пробилась ко мне сквозь гарь и боль воюющей страны весточка от Бориса.
> Промеж вымаранных цензором строк – разрозненные, казалось, бесстрастные фразы. Жив, более-менее здоров, когда вернусь – неизвестно.
> Окольными путями до меня дошла молва: у Бориса в эвакуации нашлась женщина. Нормальный для военного времени оборот событий...
> Вернувшаяся из эвакуации сестра ютилась у меня в коммуналке с тремя детьми. Я ответила мужу, обрисовала теснотищу в нашем колхозе. Не мог бы он не спешить с приездом? Ведь жить пока негде.
> Борис, видимо, по-своему истолковал мою просьбу. В каком-то смысле у него имелись на то основания: война впрыснула что-то вроде наркоза в наши чувства, мы долго ничего не знали друг о друге, и постепенно жизнь одного перестала быть жизнью другого.
> Светлый, добрый человек, Борис понимал это лучше меня. Он не вернулся. Больше мы не встречались [14, с. 151].

Я стал достаточно регулярно бывать в Москве и останавливаться в семье Кузнецовых в первой половине 1960-х годов, так что я не мог познакомиться с Суламифь Мессерер. Но и от Б.Г., и от членов его семьи я слышал о Мите, так

Суламифь называли все, близко знавшие ее, лишь слова, пронизанные добром, теплом. А прочитав приведенные выше ее слова о любви к Борису Кузнецову, о том, что это помогло ей раскрыть образ Китри в балете «Дон Кихот», я, естественно, задумался о том, что удивительная плодотворность исследовательской деятельности Б.Г. на протяжении всех 1930-х годов тоже может быть в значительной мере отражением чувства влюбленности в Миту, которое он тогда безусловно испытывал.

После войны женой Б.Г. стала Римма Леонидовна Нарышкина (1924 – 1985), я хорошо знал ее, был с ней дружен. Римма была очень красивой, элегантной, стильной женщиной. Когда они поженились, по-моему, она была еще студенткой Московского государственного института международных отношений, потом она занималась вопросами гражданского законодательства за рубежом, прежде всего – в США, стала доктором юридических наук, профессором, автором ряда монографий и учебников.

К сожалению, после отъезда в Америку я не общался с дочерью Бориса Григорьевича и Римы Леонидовны, и уже в процессе работы над биографией Б.Г. узнал, что Валентина Борисовна умерла в 2015 году. Но жива ее дочь – Римма, когда я уезжал, она была совсем маленькой.

Закончу тему коммуникационного мира Кузнецова его словами о том, что живое общение, встречи, беседы, споры, близкое личное знакомство дают такой импульс научной интуиции, какого не дают книги, и особенно это важно в случае извилистого пути в науке. Именно таким и было его движение в историю науки. Уверен, что он назвал лишь малую долю тех, с кем он был знаком, обсуждал многие темы, но все равно получился очень впечатляющий ряд представителей мира литературы и искусства: Афиногенов, Леонов, Асеев, Сельвинский, Качалов, Ливанов, Чирков, Прокофьев, многие звезды балета, начиная с Гельцер и завершая Плисецкой.

ПРЕДВОЕННОЕ ДЕСЯТИЛЕТИЕ. ПОНИМАНИЕ БУДУЩЕГО ПОТРЕБОВАЛО ОБРАЩЕНИЯ К ПРОШЛОМУ

Теперь вернемся в начало 30-х и рассмотрим, как складывалась карьера Кузнецова после завершения аспирантуры в РАНИОН. В самом общем плане сделать это несложно, необходимая информация есть в «Листке по учету кадров» и в «Автобиографии». 30-е годы – время развития энергетики и повышенного внимания к истории энергетической техники и электротехники. То был передний край науки, все достижения в области физики и техники на Западе и в СССР рассматривались применительно к решению актуальных задач энергетики. Б.Г. с его прекрасным образованием и чутьем на новое, умением слушать и прекрасными ораторскими данными, оказался в высшей степени востребованным. В июле 1930 г. он – заместитель начальника сектора электрификации Госплана СССР и одновременно – заведующий кафедрой Планового института. Обе эти должности он оставляет в ноябре 1931 г. и в 28 лет становится директором Всесоюзного института энергетики и электрификации. В автобиографии Кузнецова отмечено, что в 1930–1932 гг. он составлял схемы электрификации некоторых регионов страны, участвовал в разработке плана электрификации на вторую пятилетку и был одним из первых составителей схемы единой высоковольтной сети СССР.

Кузнецов принимал активное участие в работе ГОЭЛРО, в 1931 г. выходит его монография «Единая высоковольтная сеть СССР в перспективном плане электрификации» [16], а через год под его редакцией увидела свет книга «Основные энергетические ресурсы СССР и потенциальные торфяные и гидроэнергетические базы. Материалы к новому перспективному плану электрификации СССР».

Но вскоре, в феврале 1933 г., он переходит в Академию наук СССР на позицию старшего научного сотрудника Энергетического института. При этом не останавливается его активная преподавательская деятельность, с февраля 1933 г. и до осени 1939 г. он заведовал кафедрой истории энергетической техники Московского энергетического института. В 1936 году защищена докторская диссертация по экономике «Генезис некоторых электротехнических принципов». В одном из разговоров с С.Р. Филоновичем Б.Г. рассказал, что ему разрешили сразу защищать докторскую диссертацию. Что касается степени по экономике, то это было обусловлено интересами ВАКа (или органа, исполнявшего в те годы аналогичные функции), которому были нужны люди для формирования Советов по защите диссертаций в области экономики. Таких людей не хватало, поэтому Б.Г. за историческую работу присудили степень по экономике. Я думаю, что для этого были и более веские обстоятельства, диссертация, конечно же, носила междисциплинарный характер.

Вполне возможно, что столь стремительное движение Кузнецова по карьерной лестнице связано именно со спецификой, точнее сказать – с широтой его научных интересов. Это не могло не импонировать его старшим коллегам, понимавшим, что можно многое ожидать от человека, подходящего к решению актуальных технологических проблем с позиций большой науки. Обратимся к воспоминаниям Б.Г.: «С Г.М. Кржижановским я познакомился в один из весенних дней 1930 г. Я впервые пришел к нему, чтобы поговорить о некоторых вопросах, поднятых тогда в нашей литературе. <....> Поводом была моя статья «Генплан и электрификация», опубликованная накануне в «Торгово-промышленной газете», но разговор быстро перешел на более общие темы. <....> Получилось так, что через десять минут я поведал Глебу Максимилиановичу о раздиравшем тогда (отчасти и теперь) мою душу противоречии: меня одновременно интересовали и теоретические проблемы новой физики и технико-экономические проблемы». И затем Кузнецов заметил: «Вскоре после первой встречи с Г. М. Кржижановским я начал работать в Госплане» [6, с. 17–19].

К тому моменту Г. М. Кржижановский (1872–1959) уже давно был признанным специалистом в области планирования и реализации крупных общегосударственных технологических и социально-экономических программ, именно он в начале 1920 г. по заданию Ленина подготовил работу «Основные задачи электрификации России» и стал председателем Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО). В течение 1920–1930-х гг. он был первым председателем Госплана, а затем возглавлял Главэнерго Наркомата тяжелой промышленности. В 1929 г. Кржижановский был избран академиком АН СССР и десять следующих лет был ее вице-президентом. Можно допустить, что он сразу рассмотрел в пришедшем к нему 26-летнем экономисте немалый исследовательский и гражданский потенциал. Не удивительно, что когда Кузнецов написал прогнозную статью для подготавливавшегося А. М. Горьким издания «Две пятилетки» и Горький предложил ему перейти в редакцию этого издания, Кржижановский решительно воспротивился. Но несколько позже, в 1936 г., он поддержал Б.Г., который решил перейти в академический Институт истории науки и вспомнил, что на один из дней рождения Кузнецова подарил ему книжку Киплинга «Кот, который ходит сам по себе». Подарил с намеком, сказав ему: «Ты и есть такой кот. Но мир науки так же тесен, как и мир в целом, а у нас с тобой склонность бродить по этому миру. Мы еще встретимся в энергетической области».

В целом мы видим, что к 33 годам Кузнецов стал не только одним из крупнейших экспертов в области развития энергетической системы страны, специалистом по истории и экономике энергетической техники, но он приступил к реализации своей давней мечты – изучать историю и физику, пусть пока в относительно узком направлении – в энергетике. По-видимому, окружавшие его люди, которые были много старше его и обладали несравненно большими, чем он знаниями и опытом, видели его серьезные устремления к пониманию законов природы и его готовность к постижению методологии и духа науки. Чем еще можно объяснить его тесное сотрудничество с такими крупными учеными, людьми масштабного, во многом – планетарного мышления, как академики В. И. Вернадский, В. Л. Комаров, Г. М. Кржижановский и А. Е. Ферсман? Ведь в момент знакомства с ними Б.Г. лишь перешагнул черту тридцатилетия и делал первые шаги в академической науке.

Уже в начале 1930-х Кузнецов начинает активно публиковать результаты своих исследований по истории науки. В 1933 г. им была опубликована брошюра «Исторические истоки современной дискуссии о природе электрического тока», в 1934 г. очередной выпуск «Истории техники» включал его объемную статью «Исторические корни работ Фарадея». Возможно, это была одна из его первых его статей, в которых общая историко-научная проблематика рассматривалась в историко-биографическом контексте [17]. В поисках материалов об этой статье Кузнецова я нашел рецензию на нее, опубликованную в 1935 г. в известном журнале «Под знаменем марксизма». Это – обзор сборника «История техники», вып. II, вышедшего в 1934 г. под редакцией Г.М. Кржижановского. Конечно, сегодня, более чем через 80 лет после появления самой статьи и рецензии на нее, не представляется целесообразным разбираться в сути дискуссии между позитивистами и феноменалистами в трактовке концепций электричества Фарадея, но приведу начало этой рецензии, чтобы показать язык и дух критических материалов того времени. Рецензент писал: «Статья тов. Б. Кузнецова “Исторические корни работ Фарадея” как нельзя более кстати освещает забытую, но волнующую страницу истории. Длительная дискуссия, происходящая между академиком Миткевичем, который, к чести его надо сказать, не будучи заражен модным сейчас на Западе гнилым позитивистским, махистским поветрием в физике, отстаивает материалистическую фарадеевскую концепцию в электричестве, и физиками — феноменалистами Френкелем и Гамовым, получает теперь несколько иное направление. Тов. Кузнецов, возможно, сам того не подозревая, показал с достаточной четкостью, как развивающаяся наука, подтверждая правильность материалистических взглядов Фарадея, шагнула далеко вперед по сравнению с тогдашним представлением о строении материи» [18, с. 166]. В наше время Я. И. Френкель и «невозвращенец» Г. А. Гамов (позже – George Gamow) признаются выдающимися физиками XX столетия, и, несомненно, уже в начале 1930-х Кузнецов глубже, чем рецензент, понимал значение их исследований и воздерживался (по мнения рецензента, «недостаточно коснулся) от критики «гнилых феноменалистических установок физических идеалистов».

Пройдут годы, и в свою биографическую книгу «Встречи» Кузнецов включит очерк о Якове Ильиче Френкеле, с которым у него «было несколько случайных встреч в 30-е годы, короткий период частых и длительных бесед в 1941–1943 годах, еще одна серия уже, смею сказать, дружеских бесед во второй половине 40-х годов» [6, с. 49]. И что особо интересно, но нечасто встречается в исторических поисках, в воспоминаниях Кузнецова мне удалось найти рассказ, возвращающий нас именно к цитированному выше фрагменту рецензии на статью Б.Г. о теории Фарадея развитию электродинамики.

В начале 80-х, Кузнецов писал о том, что его первый серьезный разговор о Френкеле состоялся у него в 1932 году – напомню, Б.Г. еще не было и 30 лет – несколько раньше, чем он лично познакомился с ним. Возглавляя Всесоюзный институт энергетики и электрификации, он задумал соединить его с какой-либо крупной исследовательской организацией, например, с Институтом электричества и электрификации с крупными теоретическими и экспериментальными отделами, конструкторскими лабораториями и технико-экономическими подразделениями. Сначала он обсудил задуманное с В. Ф. Миткевичем, который, «несмотря на его антипатию к новой электродинамике и к новой физике в целом», назвал Кузнецову имя Френкеля. После переговоров с Кржижановским, Кузнецов, по его совету, поделился своею задумкой с А. Ф. Иоффе, и тот рассказал ему обстоятельно о Френкеле.

Таким образом, статья Кузнецова 1934 года о генезисе взглядов Фарадея на электричество, включала – несомненно – итоги обсуждения соответствующей проблематики с крупнейшими экспертами, и он понимал абсурдность критики «гнилых феноменалистических установок физических идеалистов», но по законам того времени не мог подробно и позитивно анализировать концепции Фарадея в духе последних достижений физики в области теории относительности и квантовой механики.

Не могу не прервать рассказ о событиях первой половины 1930-х, чтобы не сказать о личном, связывавшем в будущем Френкеля и Кузнецова. В рассматриваемом очерке о Френкеле есть такое воспоминание о нем: «Он был поэтом и знатоком поэзии, художником и знатоком живописи, музыкантом и знатоком музыки – очень эстетической и именно эмоциональной натурой. В 1942 г. перед моим уходом в армию Яков Ильич в Свердловске набросал мой портрет и, пока я позировал ему, развивал свои мысли о связи науки и искусства, высказывая их языком профессионального историка науки и профессионального историка искусств» [6, с. 57]. Прошло четыре десятилетия, и сын Я. И. Френкеля, физик и историк физики Виктор Яковлевич Френкель, друживший с Б.Г., редактировал часто цитируемую здесь книгу Кузнецова «Встречи» и в преддверии 90-летия Б.Г. написал для «Вестника Российской Академии наук» одну из самых содержательных и по-человечески теплых статей о Кузнецове: «Высоких званий не имел, но было имя» [1].

Теперь вернемся к рецензии на статью Кузнецова о теоретических взглядах Фарадея и отметим в ней два сюжета, которые представляются мне ценными для нашего историко-биографического исследования. Во-первых, в рецензии отмечается: «Большая часть статьи посвящена популярному изложению исторического развития знаний о природе электричества и магнетизма, начиная с незапамятных времен.Статья очень мало места уделяет самим работам Фарадея. В конце статьи намечается перспектива развития учения о природе явлений и развития энергетики в социалистическом обществе. Очевидно, именно поэтому работы Фарадея не являются предметом главного внимания, а одним из промежуточных звеньев развития материалистического учения о сущности электричества, материи и энергии» [18, с. 167]. Сказанное рецензентом можно понимать как то, что уже в первой половине 1930-х Кузнецов задумывался об эволюции физики, старался искать переходы от прошлого к будущему энергетики.

Во-вторых, по мнению автора рецензии: «Статья подчеркивает диалектику развития учения об электричестве, энергии и т. д. и показывает связь, которая существует между развитием науки и техники и обществом. Впервые широко использованы высказывания Энгельса об электричестве в «Диалектике природы». [18, с. 167]. Не знаю, «впервые» или кто-либо и до Кузнецова анализировал воззрения Энгельса на природу электричества, но одно здесь следует сказать определенно. Действительно, с конца 20-х годов Б.Г. внимательно изучал эту книгу и в своих историко-научных построениях использовал концептуальные рассуждения Энгельса.

В «Путешествиях через эпохи» Кузнецов упоминает «две встречи» с Энгельсом в Лондоне в 1993 году. Эти беседы писал Кузнецов-Калиостро (см. ниже): «...позволили мне объединить то, что я почерпнул в свое время из фрагментов «Диалектики природы», которые я начиная с 1927 года, с их издания в Москве, перечитывал много раз и знал почти наизусть. Я хорошо помню экземпляр второго тома «Архива Маркса и Энгельса», где с одной стороны был напечатан немецкий, а с другой – русский текст «Диалектики природы», и помню это первое чтение фрагментов» [9, с. 145].

Во второй половине 1930-х тематика исследований Кузнецова расширяется, он стремится понять, по каким направлениям будет развиваться наука и техника и какие за этим последуют преобразования в промышленности и обществе. Приведу названия нескольких его предвоенных книг: «Очерки по истории электротехники» (1936 г.), «История энергетической техники» (1937 г.), «Освоение естественных богатств Союза ССР» (1938 г.), «О новом этапе в развитии науки» (1939 г.), «Очерки истории русской науки» и «Коммунизм и техника будущего» (1940). Уже по названиям этих книг видно, что к концу 1930-х Кузнецов-энергетик постепенно становится историком техники.

В интересной, недавно опубликованной статье С.С. Илизарова [19] о творчестве крупнейшего русского историка и социолога науки Т.И Райнова (1888–1958) сказано, что во время одной из встреч Райнова с В.И. Вернадским обсуждалась судьба сборника «Очерки по истории естествознания XVI – перв. полов. XVIII вв.» (IV том «Всеобщей истории естествознания»), оргредактором которого был Райнов. Проект не был реализован, но сохранились документы, по которым можно судить о содержании и авторах задуманных материалов. Кузнецов должен был подготовить в этот сборник три статьи общим объемом в 4 п.л.: «Возникновение капиталистического производства и общий характер естествознания мануфактурного периода», «Ломоносов–естествоиспытатель» и «Мировоззрение и естествознание мануфактурного периода». К сожалению, деятельность Райнова как социолога науки крайне мало изучена, и потому сложно даже предположить, как ему виделась общая концепция сборника, но в любом случае нельзя пройти мимо факта включения Кузнецова в состав авторов рассматриваемого коллективного труда. Ведь это означает, что уже в конце 1930-х в своих взглядах на развитие техники и науки Кузнецов был не только собственно историком, но и социологом

Зимой 1930—1931 гг., вспоминал Кузнецов много позже, разработчиков планов электрификации, созданием которого занимался Энергетический сектор Госплана СССР, стали консультировать крупнейшие электротехники того времени, рассказывавшие о новых возможностях передачи мощных потоков электричества на большие расстояния – тысячи километров. Основным источником сведений об экспериментах в новых по тем временам областях экспериментальной физики был известный физик, академик А. Ф. Иоффе. Здесь я должен немного рассказать о встречах Кузнецова с Иоффе, ибо он «познакомил» Б.Г. с Эйнштейном и, тем самым, задал главные объекты размышлений и исследований Кузнецова на все последующие годы: теорию относительности во всех ее аспектах и творчество Альберта Эйнштейна. Более того, тем самым Иоффе, конечно, не зная этого, определил смысл всех историко-научных, философских и социологических поисков Кузнецова. И, смело можно утверждать, направленность всего его творчества, всей его жизни. В конце своей жизни Б.Г. писал, что судьба не дала ему счастья личной встречи с Эйнштейном, но и потом, после смерти Эйнштейна, он продолжал так и не состоявшийся разговор. И далее: «Этот внутренний диалог был главным содержанием моей внутренней жизни в течение десятилетий» [6, с. 4].

Кузнецов хотел посвятить отдельный очерк книги «Встречи» беседам с Иоффе, однако, в те годы он был для него в первую очередь участником работ по электрификации. В силу этого материал об Иоффе был включен в воспоминания о Кржижановском.

В начале 30-х Кузнецов по поручению Кржижановского руководил планированием исследований по энергетике и отдаленным проектами по новым источникам энергии. Поэтому, когда Иоффе приходил в Госплан к Кржижановскому, он сразу же приглашал и Кузнецова. Аналогично позже поступал В.В. Куйбышев, который с апреля 1921 г. руководил практическим осуществлением плана ГОЭЛРО, а в ноябре 1930 г. сменил Кржижановского на посту председателя Госплана СССР.

Постепенно постоянные беседы с Иоффе все дальше уводили Кузнецова от оперативного планирования, все реже в них присутствовала энергетическая тематика, но все чаще – физическая проблематика. А рассказывать Иоффе было о чем, он делал свое докторское исследование в Мюнхене под руководством Вильгельма Рентгена и был хорошо знаком со многими ведущими европейскими физиками. Первая личная встреча Иоффе с Эйнштейном состоялась в Берлине 19 мая 1922 г. Потом они неоднократно встречались на различных конференциях и в домашней обстановке, у них было множество обсуждений новых открытий в физике и общих мировоззренческих проблем. Интересно воспоминание Иоффе о том, что в ходе совместной долгой поездки в 1926 г. на поезде он попытался рассказать Эйнштейну о том, «кто такой Эйнштейн, что это не только и не столько создатель теории относительности, которая принесла ему славу. Не менее важно его влияние на все физическое миросозерцание» [20, с. 434].

Примерно в 1935 г. Иоффе рассказал Кузнецову о своих встречах с Эйнштейном, к этому времени, Б.Г. уже прочел несколько новых учебников по физике и, по его воспоминаниям, даже писал об идеях Эйнштейна. Но здесь он почувствовал образ Эйнштейна, и это оказалась для него своего рода «встречей на пути в Дамаск».

Летом 1931 г. началас ь подготовка к Всесоюзной конференции по высоковольтным передачам, на ней Кузнецову было поручено было сделать доклад о конфигурации единой высоковольтной сети и включенных в нее станциях, это был своего рода набросок генерального плана электрификации страны, учитывающего новейшие достижения физики в дальних передачах электрического тока. В конце концов Б.Г., совместно с опытным экономистом и специалистом в области экономического районирования, гидроэнергетиком, будущим академиком Иваном Гавриловичем Александровым (1875–1936) стали обсуждать список электростанций, которые лет через 10—15 лет будут давать ток в единую сеть. Этот перечень и конфигурация магистральных электролиний были доложены на конференции по передаче электроэнергии на большие расстояния, а многое из сделанного было отражено в названной выше книге Б.Г. о Единой высоковольтной сети СССР. Доклад был передан видному экономисту, историку науки и общественному деятелю Модесту Иосифовичу Рубинштейну, который доложил материалы от имени Кузнецова на 2-м конгрессе по истории науки и техники, состоявшемся в Лондоне в 1931 г. Через 30 лет, отмечает Кузнецов, он встретил на 10-м конгрессе по истории науки несколько человек, которые помнили этот доклад.

В поисках информации о работе Кузнецова в области энергетики я нашел ранее не цитировавшуюся и не отраженную в «Списке научных трудов и изобретений» его небольшую заметку-некролог, в связи со смертью И. Г. Александрова, она называется: «Великий инженер» [21].

Прошло почти полстолетия после смерти Александрова, но Б.Г. нашел необходимым вспомнить его добрыми словами: «Когда праздновали 30-летие его инженерной деятельности, я сказал ему с некоторой возрастной бестактностью: “Ну теперь Вам пора писать мемуары!” “Нет, – ответил

он, – я умру стоя!». Умер он, правда, не стоя, а сидя, но как-то очень достойно. Почувствовав приближение смерти, он попросил сестру в палате помочь ему сесть в кресло. Так он сидел, курил и размышлял. Потом он попросил сестру на минуту выйти. Когда она вернулась, Иван Гаврилович был мертв» [6, с. 27].

Итак, в современной терминологии, обоснование Единой высоковольтной сети СССР было итогом обсуждения экономистами, энергетиками и физиками-экспериментаторами различных аспектов комплексного среднесрочного плана развития электростанций и технологий передачи электроэнергии на большие расстояния. И после этого, а скорее всего, в процессе этой работы Кузнецов стал задумываться, благодаря и при поддержке Кржижановского, и том, что можно ожидать от достижений физики и технических наук в более отдаленной перспективе. По воспоминаниям Кузнецова, в 30-е годы в планирующих организациях появлялись физики-экспериментаторы, но не приходили физики-теоретики и, по-видимому, тогда он обратил внимание на то, что прогнозы в технике, которыми он и занимался, не принимают во внимание достижения, направленность развития теоретической физики; в планирующих организациях появлялись физики-экспериментаторы, но не приходили физики-теоретики. Соответственно энергетические прогнозы 30-х годов становились функциями классической физики, включая классическую электронную теорию, вместе с тем, как писал Кузнецов, многие физики уже знали теорию относительности Эйнштейна, догадывались о грядущем практическом ее использовании и, как следствие, о радикальной перестройке энергетики. Однако, эта перспектива никогда, даже неявно, не учитывалась в сколько-нибудь серьезных энергетических проектах 30-х годов.

По воспоминаниям Б.Г., его с ранней юности увлекали экономические проблемы электрификации и проблемы теоретической физики, но эти интересы не сливались. В частности, в 30-е годы почти одновременное изучение схем электрификации и электротехнических и электрофизических статей, с одной стороны, и изложений теории относительности — с другой, никогда не приводило его к серьезным размышлениям о включении релятивистских энергий в круг целесообразных энергетических трансформаций, в производство. Значит, дело объяснялось не тем, что об электронной теории он и окружающие его энергетики и физики-экспериментаторы знали, а о теории относительности не знали. Б.Г. полагал, что дело заключалось в том, что экспериментальные подтверждения классической электродинамики и электронной теории были совокупностью процессов, уже известных, тогда как экспериментальные подтверждения теории относительности не могли быть воплощены в производство без принципиально новых экспериментов, а по сути – новых теоретических построений. В начале 30-х годов стали известны нейтроны, тяжелые элементарные частицы, не имеющие электрического заряда, в существовании которых видели решение ряда энергетических проблем, но все это не становилось исходным материалом для перспективного планирования. Перспективное планирование исходило из экспериментов, в которых участвовали нерелятивистские энергии, и это ограничивало энергетические прогнозы.

Но к середине 1930-х, Кузнецов стал в полной мере осознавать, что прогнозы в области энергетики предполагают использование не просто достижений в классической электродинамике, но релятивистской физики и результатов новых экспериментов. Во «Встречах» Б.Г. назвал тот тип мышления, который культивировался в «школе» Кржижановского, динамичным в смысле существования диалога между старыми и новыми концепциями и, соответственно, по-Кузнецову, *историко-научным*. Он объяснял использование этого термина тем, что в ходе указанного диалога анализируются научные понятия, порожденные разными эпохами. И далее следовал

супервывод: «И сам Кржижановский, и все его соратники <...> оказывались в той или иной мере историками науки, даже почти профессиональными. В этом отношении моя судьба не была единственной и никого особенно не удивляла» [6, с. 26].

Конец 1930-х. В.И. Вернадский о Б. Г. Кузнецове

Теперь попытаемся в общих чертах проследить или восстановить путь Кузнецова от энергетики, даже понимавшейся им весьма широко, не только как области технологии, но как важнейшего элемента масштабных социальных преобразований в стране, к истории науки. В уже много раз упоминавшейся автобиографической книжке «Встречи» сказано: «С Владимиром Ивановичем Вернадским я встречался во второй половине 30-х годов довольно часто, иногда почти каждую неделю» [6, с. 35], особенно Б.Г. тогда интересовали беседы об истории естествознания. В первой половине 30-х он еще не был профессиональным историком науки, хотя уже читал курс истории энергетики в Московском энергетическом институте. И вот, колоссальная историко-научная эрудиция Вернадского, его библиотека и, главное, беседы с самим Вернадским подготовили его к переходу из Энергетического института Академии наук в Институт истории естествознания. Теперь, на мой взгляд, об одном из главных приобретений Кузнецова из общения с Вернадским: «... что я почувствовал в трудах и в беседах Вернадского и что я понял только сейчас, – неизбежности и необходимости *выхода из содержания науки в ее историю*» [6, с. 36]. Иначе, но эта же мысль была высказана де Бройлем в его беседе с Кузнецовым: «Мне даже кажется, – сказал он, – что я за последние тридцать лет прочел больше книг по истории, чем по физике» [6, с. 79].

Приведу еще один фрагмент воспоминаний Кузнецова, отчетливо показывающий влияние Вернадского не только на его профессиональное становление, но и на осознание им смысла своей жизни. Однажды В.Л. Комаров попросил Кузнецова передать Вернадскому его просьбу – занять какой-то дополнительный пост в Академии наук.

Вернадский предпочел отказаться и объяснил это «страхом смерти». Но не в обычном смысле, а в смысле боязни не успеть в течение оставшейся жизни сделать то, что уже задумано. И на вопрос своего молодого собеседника: «А в каком возрасте должна появиться такая боязнь?» он ответил: «Чем раньше, тем лучше, хорошо бы до тридцати лет, но главное – сохранить ее до старости». Тогда, в 30-е годы, Кузнецов еще не очень представлял себе, что ему предстоит сделать в жизни. Его еще тянуло к экономическим проблемам, к электрификации, к научно-техническим прогнозам. Но при этом он начинал понимать, что такие прогнозы требуют длительной собственно научной подготовки, уже несколько лет читал учебники физики и математики и даже познакомился с некоторыми статьями Эйнштейна. «Гуманитарное прошлое, – подводил итог Б.Г., – и не просто гуманитарный, а гуманистический подтекст статей Эйнштейна направили мою мысль на общую историю науки». И после этого он «почувствовал тот “страх смерти”, о котором говорил Вернадский, тут-то (как он рекомендовал – раньше тридцати лет) и появились замыслы, которые, к счастью, сохранились и поныне» [8, с. 39]. Уместно заметить, что написано это было в 1982–1983 гг. 80-летним человеком, автором десятков книг.

Здесь мы наблюдаем определенную двойственность, известную парадоксальность взглядов Кузнецова на развитие науки. Ему необходимо было понять, увидеть *будущее* энергетики, причем не вообще, а как отрасли народного хозяйства, и потому он обратился к *прошлому* энергетической техники и энергетики и постепенно это движение привело (или завело) его в принципиально более масштабное и сложное исследовательское пространство. В его «Автобиографии» сказано: «Со второй половины 30-х гг. работал во все большей степени по философии и общей истории

науки». Это совпадает с тем, что отмечено в обстоятельной статье С.С. Илизарова «Кот, который ходит сам по себе» о жизни и исследованиях Кузнецова: «В 1936 г. Б. Г. Кузнецов, занявшись профессиональным изучением истории и философии науки и техники, стал работать в переехавшем тогда из Ленинграда в Москву Институте истории науки и техники. Недолгое время он даже возглавлял этот институт, а после его закрытия руководил сектором истории науки в Комиссии по истории техники и естествознания АН СССР, сведения о которой крайне скудны и отрывочны» [22, с. 139]. Результатом работы в этот период стала книга Кузнецова «Очерки истории русской науки» [23] и ряд работ по философии естествознания и по истории мировой науки.

Зная из книги «Встречи» о частых беседах Б.Г. с Вернадским, для меня все равно было приятной неожиданностью обнаружить размещенном в интернете дневнике Вернадского немало записей о посещении его Кузнецовым [24]. В хронологическом отношении рассматриваемый ниже материал в полной мере вписывается в предвоенное десятилетие, но все же я выделяю его в самостоятельный параграф. Дело в том, что скупые, явно не предназначенные для будущего биографа Кузнецова дневниковые записи одновременно передают сложный процесс узнавания одним из выдающихся естествоиспытателей XX века представителя нового постреволюционного поколения ученых и помогают увидеть Б.Г. в очень трудные, драматичные предвоенные годы.

События, о которых идет речь в дневнике Вернадского, происходили в 1938 году. В марте того года В.И. Вернадскому исполнилось 75 лет. Он родился в Петербурге, в семье профессора экономики, учился в Петербургском университете, среди его профессоров были В. В. Докучаев, Д. И. Менделеев, А. Н. Бекетов. В 1888–1890 гг. он обучался в университетах Италии, Франции и Германии. С 1922 по 1926 гг. преподавал в Сорбонне, работал в Музее естественной истории в Париже. В 1915–1930 гг. возглавлял Комиссию по изучению естественных производственных сил России. Вернадский – один из главных разработчиков плана ГОЭЛРО, академик, создатель нескольких научных школ и первооткрыватель новых исследовательских направлений, организатор ряда академических институтов. В 1934 году Вернадские поселились в маленьком двухэтажном особнячке на Арбате, заняв второй этаж. Летом 1935 года здоровье Владимира Ивановича ухудшилось, и он лечился в Карловых Варах. По мнению историков, Вернадский, Ферсман, Карпинский остались живы в годы репрессии, поскольку обладали колоссальным практическим и теоретическим опытом в геологии, а недра – это валюта.

Б.Г. в октябре 1937 г. исполнилось 34 г., его социализация прошла в сложные годы Гражданской войны, он получил образование в далеко не в лучших вузах страны, лишь в конце 1920-х стал осваивать Москву и только в середине 1930-х начинает входить в академическую науку. С трудом представляю, что Кузнецов комфортно чувствовал себя в ходе первых встреч с Вернадским. Разные поколения, разные биографии, несопоставимые жизненные, профессиональные и коммуникационные миры.

Теперь обратимся к материалам дневника Вернадского, их расшифровкой и комментированием занимался Владислав Павлович Волков (1934–2012), геохимик, доктор наук, биограф Вернадского, свыше тридцати лет посвятивший изучению наследия своего учителя. Сначала приведу все дневниковые записи Вернадского, в которых упоминается Б.Г. Кузнецов, а потом постараюсь дать краткие пояснения.

3 января 1938, утро: Днем в Институте истории науки. Люди желают сохра-нить – но, конечно, совершенно ясно – не по силам задача. Я.М. Свикке, старый ком-мунист написал докторскую (!) работу. С 1904 партиец. Сознает (после опыта) свое бес-силие. Уговаривал меня стать во главе. «Профессор Кузнецов» – лучшее впечатление. Пытался, очевидно, «исследовать».

25 января 1938, утро: Были из Института ист[ории] науки Кузнецов и парторг Дусь. Оба – желающие работать, но малообразованные и самоуверенные. Настаивали на том, чтобы я стал во главе. Решительно отказался, но помочь всячески готов. Придется ехать в Президиум (АН СССР). Они говорят, что иначе их закроют.

26 января 1938: С Кржижан[овским] о Ком[иссии] (по) ист[ории] (науки и тех-ники). Согласился стать председателем] врем[енной] ком[иссии]. Обоих молодых коммунистов Дуся и Кузнецова они проводят (в штат).

4 **февраля 1938, утро:** Днем у Кржижановского – об Инст[итуте] ист[ории] науки. Молодежь (Дусь, Кузнецов?) протестует и потребовала (через ЦК партии) вторичного заседания. <...>. Думаю, что я тут могу сделать faut[or] pass[ivus] (пассив-ный доброжелатель).

6 февраля 1938, утро: Днем в Президиуме. Прошло восстановление] Института] ист[ории] н[ауки]. Пришлось стать председателем] временной комиссии. Мое реше-ние имело значение, неожиданное по эффекту и для меня. Хорошее впечатление – молодые ком-(м)унисты Кузнецов и Дусь: энергия, инициатива. Возражал Комаров неудачно. Деборин, очевидно, учтя положение и мнение ЦК партии, перешел (на другую позицию) и внес вопрос о пересмотре (прежнего) решения. Думаю, что я посту-пил правильно. Пришлось вечером не быть на заседании Биогела.

11 ноября 1938: Были Кузнецов и Дусь – очень интересный разговор. Надо очистить (Свикке, Гамбаров, Найденов, Романов). Вскрылась передача доносов. Они пробрались и к Комарову] (обе группы – друг на друга доносы). Думаю, есть здоровое ядро.

15 ноября 1938, утро: Кузнецов отказывается от исполнения] обязанностей] директора] Институ-та] ист[ории] зн[аний]. Вмешивается Комаров (заболел).

16 ноября 1938, утро: Утром Бор[ис] Григорьевич] Кузнецов. С ним можно говорить. Желание и интерес, мне кажется, есть и научный. Его статьи попул[ярны], и он как будто понимает (их) отличие от чисто научной работы. Комаров вмешался и настаивает на возвращении Нерсесова. Из слов Кузнецова] видно, что эта фигура (бесп[артий-ный]) близк[ая] и адекв[атная] работе. Впечатление сейчас очень тес-ного вмешательства партии в мелочи – «Правды» и ЦК. Кузнецов хлопочет везде. Нет сейчас настоящего заместителя Бауману. Временный – Андреев. А.А. Андреев (Андр[ей] Андреев[ич]), секретарь Сталина новый. Наиболее влиятельный по делам науки. Необходимо переговорить с Комаровым. Крыж[ановский] от этого уклоня-ется. Опять поднимается вопрос об уничтожении его как самостоятельной единицы. В «Правде», сказал К[узнецов], что если «честно» не будет проведено, то будет ста-тья не против Ком[арова] – но против Кузнецова] – но будет.

18 ноября 1938, утро: Звонил Кузнецов – 15 (марта) закрытое заседание Президиума (АН СССР). Решили закрыть Инст[итут] ист[ории] н[ауки] и т[ехники]. Допускаю возможность правильного решения: распустить весь институт и набрать новый. Они должны были это сделать сразу. Кузнецов справлялся в сферах: указана была необходимость уменьшения тематики – но и только.

Это же новое: Тараканов, Кузнецов, Веселовский. Они что-то имеют общее. Есть воля, инициатива, работоспособность, идейность. Но это не подходит к ср[ед-нему] уровню (партийцев).

20 ноября 1938, утро: Б. Г. Кузнецов о ликвидации Института] ист[ории] науки. Решение 15-го неожиданное. Комаров с ним (беседовал) по возвращении. Думаю, что Деборина испугала ответственность. Куз[нецов] обратился к Сталину. Ему д[олжно] б[ыть] придется участвовать в ликвидации. Впечатление положительное. Интересуется Герценом

5 декабря 1938, утро: Вчера утром Б. Г. Кузнецов (Шапиро, по Комарову, служил у Кржиж[ановско-го]). С ним о Ком[иссии] (по) ист[ории] зн[аний].

9 декабря 1938, утро: Днем Б. Г. Кузнецов. Рассказывал о неразберихе с Институтом] ист[ории] науки. Деборин болен (...) и сектор ист[ории] техники получит единицы. Здесь все «кормящиеся» стремятся. К[узнецов] – несомненно, начитанный и живой. Я ему говорил о своей идее писать в газету об образовании центра изучения ист[ории] зн[аний] и техн[ики] в России и Союзе. Наподобие Пушкинского дома. Дом Менделеева-Лобачевского. Он предлагает] и Ломоносова. Предложил справиться в «Правде» – я согласился. Я считаю, что этим путем исследование ставится в рамки. Архив, библиотека и музей ИИНТ сохранятся.

Выше были приведены слова Б.Г. о том, что во второй половине 30-х он довольно часто встречался с Вернадским, дневниковые записи Вернадского, несомненно подтверждают это. Вполне возможно, что встреч было больше, во-первых, допускаю, что автор дневника не все вносил в него, во-вторых, можно допустить, что значительную часть 1938 года Вернадский не вел дневник, во всяком случае в онлайновой версии дневника, которой я пользуюсь, не отражены события марта-октября.

Сейчас невозможно сказать, была ли встреча Кузнецова с Вернадским, описанная им утром 3 января 1938, первой, но это весьма правдоподобно. Темой беседы были дела в Институте истории и техники, и на ней Кузнецов был с Я. М. Свикке, исполнявшим тогда обязанности директора этого института. То, что Вернадский записал о своих собеседниках, во-первых, свидетельствует о недостаточном знании их, во-вторых, о его настороженности. Тот факт, что «Профессор Кузнецов» произвел лучшее впечатление, чем Свикке, мне кажется, свидетельствует лишь о том, что он показал себя более включенным в науку, чем «старый коммунист».

Здесь нужны некоторые пояснения. В 1921 году в Российской академии наук под председательством В.И. Вернадского была создана Комиссия по изучению истории, философии и техники, переименованная затем в Комиссию по истории знаний (КИЗ). С 1930 года председателем комиссии стал Н. И. Бухарин. Но уже 28 февраля 1932 года КИЗ переименована в Институт истории науки и техники (ИИНТ). Руководителем института был назначен академик Н. И. Бухарин, а его заместителем стал академик А. М. Деборин. Вскоре в связи с «Бухаринским делом» наступил период смен директоров Института. В 1935—1937 годах Институт возглавлял В. В. Осинский-Оболенский (1887–1938), экономист, публицист, академик АН СССР. После его ареста, отмечает в обстоятельной статье об ИИНТ Ю. И. Кривоносов, «Началась кадровая чехарда, обязанности директора по несколько месяцев выполняли Я. М. Свикке, историк техники, затем Б. Г. Кузнецов» [25, с. 79].

Более развернуто эта история отражена в одном из сборников «Материалов самиздата» (1987): «Следующим директором, верней и.о., был Ян Мартынович Свикке, чл. партии с 1904, в 1918 был командиром латыш. боевых отрядов на Урале и в Сибири, после — на работе по линии Наркомпроса в Москве. В преддверии бухаринского процесса «Правда» дала сигнал к новой чистке ин-та: 11.1.38 появился фельетон Давида Заславского с красноречивым названием «Дармоеды от науки». В ответ на статью президиум АН признал, что в ин-те, «как известно, долгое время хозяйничала шайка троцкистско-бухаринских шпионов и диверсантов», «Только после... фельетона... начата очистка института от бездельников и дармоедов», «...

был поднят... вопрос о его ликвидации», но президиум АН решил ин-т сохранить; об изгнании Свикке сказано лишь косвенно: «бездельник и беспринципный человек» и что утвержден новый и.о. директора – Б. Г. Кузнецов («Пр.», 6.2.38)» [26].

И все же 5 марта 1938 года постановлением президиума АН СССР институт был закрыт.

В записи Вернадского от 25 января 1938 впервые встречается фамилия Дусь, это не точно. Кузнецов одно время был его директором или исполняющим обязанности директора Института, а его коллега Петр Дмитриевич Дузь (1907–??) – парторгом. О нем известно следующее: «Учёный в области авиастроения, академик РАЕН (1994), д.т.н., д-р экон. наук. С середины 30-х преподавал в МАИ, был деканом факультета. Участник Великой Отечественной войны с 1941 г. Воевал в народном ополчении. В сентябре 1943 г. необоснованно репрессирован. Находился в заключении в ЦКБ-29 НКВД. Реабилитирован в 1957 г. Автор монографии «История воздухоплавания и авиации в России», выдержавшей несколько переизданий». Конечно, слова о том, что Кузнецов и Дузь «малообразованные и самоуверенные» – не лестные, но, наверное, для того времени – весьма справедливые. Самоуверенность, по-видимому проявившаяся в несколько поверхностном понимании ситуации и судьбы Института, была следствием их молодости – Дузю лишь 30 лет – и незнанием положения в Академии наук. А то, что они знали мало, безусловно, но многое у этих исследователей еще было впереди.

Следующие три записи (4, 11 и 6 февраля) очевидное свидетельство изменения мнения Вернадского о Дузе и Кузнецове в положительную сторону и, замечу, Вернадский постоянно подчеркивает партийность его молодых коллег. Из дневника видно, что Вернадский, в самом мягком варианте, не доверял партийной номенклатуре, в данном случае его, по-видимому, удивляли желание коммунистов сохранить Институт и решительность их действий.

Интересны, значимы для понимания личности и научных интересов Кузнецова и динамики отношения Вернадского к нему дневниковые записи от 15 и 16 ноября. Вполне допускаю, что встреча, состоявшаяся на следующий день после отказа Кузнецова от исполнения обязанностей руководителя Института, началась с обсуждения именно этой темы, но затем вышла на более высокий, общенаучный уровень. Именно этим объясняю слова: «Утром Бор[ис] Григорьевич] Кузнецов. С ним можно говорить. Желание и интерес, мне кажется, есть *и* научный». Здесь впервые Вернадский записал в дневнике не Кузнецов, но Бор. Григ. (полное написание имени и отчества – это от редактора текста) и выделил курсивом «и» перед «научный». Сейчас, по прошествии почти восьмидесяти лет после той встречи, трудно сказать, как тогда Вернадский и Кузнецов различали популярные и чисто научные статьи, тем более, что мне не известно, о каких работах Кузнецова шла речь. Скорее всего, Вернадский симпатизировал активности деятельности Кузнецова по спасению института Истории науки и техники, и его обращениям в различные структуры власти, хотя это было не безопасно. Но вспомним: год назад написанное им письмо в защиту друга – Михаила Тайца, принятие в свою семью Майи Плисецкой – дочери «врагов народа»

А вот сказанное всего через два дня о Кузнецове и двух сотрудниках академика Ферсмана: «Они что-то имеют общее. Есть воля, инициатива, работоспособность, идейность. Но это не подходит к ср[ед-нему] уровню (партийцев)». Можно предположить, что настороженность Вернадского, вызванная мало понятной ему партийностью Б.Г., постепенно сменилась пониманием того, что перед ним, действительно, человек, еще не много знающий, но увлеченный историко-научными поисками.

Прошло еще два дня, и Кузнецов сообщил Вернадскому о ликвидации Института, ему все же пришлось возглавить ликвидационную комиссию в Ленинграде, и о письме Сталину, скорее всего, по вопросу о сохранении Института. Интересно, ни академик Абрам Моисеевич Деборин (1881–1963), обладавший в конце 30-х достаточно высоким политическим статусом, ни Ян Мартынович Свикке не боролись за сохранение ИИНТ так, как Кузнецов; а ведь реакция на его действия могла быть крайне негативной.

Интересно, что же могло интересовать Б.Г. в творчестве А. И. Герцена? Я не думаю, что это были собственно художественные или эстетические взгляды писателя. Конечно, возможно, но мало вероятно, что «Былое и думы» каким-то образом подводили, подталкивали Кузнецова к размышлениям, которые много позднее, уже после войны проявились в его исследованиях соотношения прошлого и будущего, в работах о необратимости времени. В увлеченности Кузнецова взглядами Герцена я склонен видеть прежде всего свидетельство социологичности интерпретации Б.Г. предмета своих исследовании. Здесь отмечу, что один из первых советских социологов послевоенного времени А.Г. Здравомыслов, специально изучавший историю российской (дореволюционной) социологии, полагал, что «первым» российским социологом был именно Герцен.

И вот – две последние в 1938 г. записи Вернадского. Не знаю, почему вдруг, 5 декабря, фактически через год знакомства с Кузнецовым он, ссылаясь на академика Комарова, приводит его фамилию, полученную при рождении – Шапиро, и тот факт, что он работал у Кржижановского? Может быть, это было связано с работой Б.Г. в Комиссии по истории знаний? И затем 9 декабря – серьезнейший разговор с Кузнецовым о грандиозном плане создания в стране центра изучения истории знаний и техники в прошлом и настоящем, а также о Доме Менделеева-Лобачевского подобного Пушкинскому дому в Петербурге. Этот музей, архив, библиотека Пушкинских материалов и исследовательский центр были созданы в Петербурге в 1905 г. для изучения творчества поэта. Уже по тому, что Кузнецов напомнил о Ломоносове и предложил справиться в «Правде», нетрудно допустить, что он принимал этот замысел и был готов работать над его реализацией.

И здесь – как финал годовых встреч: «Кузнецов – несомненно, начитанный и живой». Вспомним начало: малообразованный и самоуверенный, к тому же – настораживающая партийность. Но последнее не прошло, 1 января 1939 г., в утренней записи читаем: «Сейчас Б.Г. Кузнецов (он и раньше, мне казалось, имел связь *с* ЦК) – назначен представителем в ЦК по науке («с» – курсивом). В комментарии В. П. Волкова сказано: «Отметим, что в обстоятельном материале о жизни и деятельности Б. Г. Кузнецова в журнале «Вопросы истории естествознания и техники», опубликованном в 1993 (№ 4. с. 124—139) этот важный факт его биографии не отмечен». 18 февраля Вернадский возвращается к этой теме: «По-видимому, общая структура ЦК партии изменилась. Вместо игравших большую роль заведующих наукой – Стецкого (застрелился), Баумана – назначен (Б.Г.) Кузнецов – маленький по влиянию человек, по словам Комарова. Здесь В. П. Волков отсылает к вышеприведенному комментарию.

Мне остается лишь добавить, что ни в «Личном листке по учету кадров», ни в автобиографии Кузнецова не отмечено, что он занимал какую-либо должность в ЦК. А ведь оба эти документа делались в 1968 году, когда член КПСС с более чем сорокалетним стажем обязательно отразил бы этот факт в своих документах.

Прослеживая освоение Кузнецовым историко-научного пространства, охват им все новых направлений, я все же был несколько удивлен, прочитав статью Е.Б. Музруковой и Л.В. Чесновой «Советская биология в 30–40-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы» [27]. Авторы статьи отмечают, что в 1939 г. журнал

«Успехи современной биологии» находился в очень сложном положении. Он продолжал печатать статьи по генетике, экспериментальной эмбриологии, дарвинизму видных ученых, не желавших делать реверансы Т. Д. Лысенко и использовавших для прикрытия в лучшем случае авторитет Ч. Дарвина и К. А.Тимирязева. Поэтому, полагают Музрукова и Чеснова, в специальном выпуске журнала, приуроченному к 60-летию Сталина, была опубликована работа Б. Г. Кузнецова «Естествознание сталинской эпохи». Далее следует комментарий авторов статьи: «Даже такой умный, талантливый человек, пытался продемонстрировать свое соглашательство, лояльность редколлегии и журнала по отношению к процессам, происходившим в науке и в самой биологии». В качестве иллюстрации своих утверждений они цитируют слова Кузнецова: «...воспоминание о тяжелом прошлом русской науки, мысль о тяжелом настоящем науки за рубежом еще больше сплачивает советских ученых под знаменем Великой Октябрьской социалистической революции, которой наука обязана своей свободой» и приводят еще несколько подобных утверждений Б.Г.

Легко понять, что такой стиль статьи был условием ее публикации в «Сталинском» выпуске журнала, и потому и ее содержание, и ее язык бессмысленно обсуждать с историко-научной точки зрения. Но мне интересно, почему статья о естествознании, более того – о работах Т.Д. Лысенко в области агротехники, была заказана недавнему энергетику? Сами авторы делают такое допущение: «Вполне возможно, что статья Б.Г. Кузнецова, явившись своеобразным индикатором на верность идее и вождю, позволила журналу еще некоторое время печатать статьи антилысенковского толка».

Пожалуй, с этим можно согласиться, но одновременно нельзя исключить того, что эта статья была написана Б.Г. по личной просьбе Президента АН СССР В.Л. Комарова, в 1939 г, ставшего ответственным редактором «Успехов современной биологии». Они познакомились в 1936 году, и вот как в начале 80-х Б.Г. вспоминал их встречи. «Я начал довольно часто ходить к Комарову иногда по редакционным делам [БД: имеется в виду журнал «Вестник Академии Наук»] <...> а подчас без всяких дел. Комаров мне часто рассказывал о своих путешествиях на Восток <...> Потом беседы принимали более общий характер. Несмотря на разницу в возрасте, установилась и росла эмоциональная близость». Таким образом, первое, что можно заключить из всего сказанного, это то, что к концу 30-х Кузнецов рассматривался научным сообществом как историк науки широкого профиля, и второе, – что его статья «Естествознание сталинской эпохи» была не научной, а откровенно политической. Прочитав все это в раннем варианте настоящей статьи, С. Р. Филонович вспомнил рассказ Б.Г. об одном из трудных событий в его жизни. Уже после войны его вынудили написать книгу о вкладе Сталина в развитие естествознания. Он понимал, что публикация этой книги нанесет непоправимый вред его репутации, но сделать ничего не мог. Книга была написана, и Б.Г. прислали верстку. Что делать? Он всячески оттягивал момент возвращения верстки в издательство и дотянул ... до смерти Сталина.

Война и становление историка науки

Война не только приостановила исследования Б.Г. Кузнецова в области истории науки, на несколько лет она вообще оторвала его от исследовательской деятельности.

Уже 23 июня 1941 г. Президиум АН СССР обязал академические учреждения перестроить свою деятельность в соответствии с требованиями фронта и тыла. В июле 1941 г. образуется Научно-технический совет Государственного комитета обороны. В его состав вошли академики И. П. Бардин, А. Ф. Иоффе, П. Л. Капица, в работе Совета участвовали академики СИ. Вавилов и Н.Н. Семенов и ряд дру-

гих ведущих ученых страны. Основным ядром Комиссии стал научный коллектив Академии наук, который возглавил ее президент В. Л. Комаров, а его заместителями были назначены академики И. П. Бардин, Э. В. Брицке и С. Г. Струмилин. Было выделено несколько групп по наиболее важным направлениям во главе с ведущими специалистов Академии наук. Группу транспорта и энергетики возглавили член-корреспондент АН СССР В. И. Вейц, профессора Б. Г. Кузнецов и Н. Н. Колосовский.

Через четыре десятилетия после описываемых событий Б.Г. так вспоминал то время: «Буквально каждый день на Урал прибывали сотни демонтированных заводов и должны были возникнуть без малейшего промедления десятки новых отраслей промышленности. Для них нужно было в течение нескольких недель, а чаще дней и даже часов, определить, каковы должны быть новые источники энергии, новые транспортные условию, новые источники водоснабжения, новые сырьевые базы и новые технологические процессы, иногда принципиально новые, казалось требовавшие многолетних исследований. А потом нужно было все это реализовать.... Через несколько месяцев, во всяком случае не позже, чем через год, эвакуированная промышленность уже работала» [6, с. 32–33].

10 апреля 1942 г. за успешную работу «О развитии народного хозяйства Урала в условиях войны» группе ученых была присуждена Сталинская премия первой степени. Среди награжденных был и Б. Г. Кузнецов. Но уже в июле 1942 г. он – в действующей армии, возглавляет политотдел 61 инженерной (14 штурмовой) бригады. Записи из «Личного листка по учету кадров» показывают, что за 20 лет до этого Кузнецов приобрел первый опыт политработы в армии. Напомню, что в 1921–1922 гг. он одновременно с учебой в Политехническом университете в Днепропетровске работал помощником начальника учебной части 44 пехотных курсов.

В рядах инженерной бригады, Кузнецов участвовал в боевых действиях под Сталинградом и на Южном фронте. Приведу фрагмент его воспоминаний, в котором он описывает «прогулку» по мосту с командиром бригады инженерных войск М. П. Каменчуком, под началом которого он служил:

> Один из батальонов нашей бригады строил мост через реку Миус, которую нужно было форсировать, чтобы прорвать фронт. Немцы, окопавшиеся на противоположном берегу, сильным огнем мешали наведению моста. М. П. Каменчук предложил мне подъехать к реке и посмотреть, что там можно сделать. По приезде он создал сильную огневую завесу. Мне казалось, что Каменчук решает шахматную задачу, а может быть и собственно математическую. <...> А между тем немцы практически прекратили огонь, и М. П. Каменчук предложил мне пройтись по недостроенному мосту, чтобы показать относительную безопасность продолжения строительства моста. Я согласился, но заметил, что такая прогулка должна иметь еще какую-либо цель. «Хорошо, ответил М. П. Каменчук. – Вы при этом еще раз объясните мне, что такое теория относительности». Потом, после прорыва Миусского фронта, Каменчук сказал: «Ведь и Вы кое-чему научились на том мосту, например максимально краткому изложению теории относительности!» [6, с. 41].

С мая 1943 г. Кузнецов – заместитель начальника отдела Штаба инженерных войск в Москве. Тогда маршал М. П. Воробьев, командовавший инженерными войсками в годы войны, создал в Штабе отдел по анализу инженерного обеспечения операций. Б.Г. должен был ездить на фронты и инструктировать инженерные части, чтобы уменьшить потери штурмовых бригад. Теперь процитирую воспоминания Кузнецова: «... я по его [БД: маршала Воробьева] заданию написал небольшую

книжку о тактике инженерного штурма от Вобана [БД: речь идет о фортификационной системе, разработанной еще в XVII веке выдающимся французским военным инженером Себастьеном ле Претра де Вобаном] до деблокирования Ленинграда, которая была разослана инженерным штурмовым бригадам. Отчетом о поездке на Ленинградский фронт и обзором инженерного обеспечения деблокирования Ленинграда и закончилась моя военная карьера» [6, с. 43]. В боях под Нарвой он был серьезно ранен и после госпиталя в ноябре того года демобилизован.

Через много лет после окончания войны в посмертно изданном тексте Б.Г. о Спинозе я обнаружил следующее его автобиографическое замечание:

> Зимой 1943 г., в Сталинграде, очередную атаку немцев на траншеи, в которых находились батальоны нашей инженерной бригады, сопровождал и поддерживал немецкий самолет, который осыпал траншею бомбами и пулеметными очередями. Я думал об очень близкой и, по-видимому, неизбежной смерти, но был уже достаточно опытным офицером, чтобы знать, как можно ликвидировать это ощущение и вернуть себе то «ощущение бессмертия», потеря которого на передовой является таким же ЧП, как дезертирство; моя роль как начальника политотдела бригады как раз и состояла в ликвидации ЧП. В напряженной обстановке я вспоминал о встречах с людьми и о прочитанных книгах. Когда наступление немцев выдохлось, ко мне подошел командир соседней бригады, полковник Корявко – самый, по общему признанию, храбрый офицер инженерных войск. Он командовал бригадой десантников, забрасывавшихся в ближайшие тылы противника с грузом толуола и подрывавших немецкие доты. И Корявко, и его бойцы в промежутках между вылетами начинали скучать, нетерпеливо ожидая следующего задания. Корявко спросил меня, о чем я думал во время атаки немцев, и, узнав, что о книге Спинозы, заметил: «Что ж, это правильно, вы помните «Есть упоение в бою...» и следующую фразу «Пира во время чумы»: «Все, все, что гибелью грозит, для сердца смертного таит неизъяснимы наслажденья – бессмертья, может быть, залог...» Я думаю, что не только то, что грозит нам гибелью, но и всякое отвлечение от личного бытия и от прагматических задач приближает человека к невыразимому наслажденью и к «бессмертья, может быть, залогу» [28].

Я читал много воспоминаний о войне, но не припомню чего-либо схожего. Правда, естественно задаться вопросом: «Участвовал ли в боевых операциях в годы Великой отечественной войны еще кто-либо из лауреатов Сталинской премии I степени в области науки?»

Появление этой истории в размышлениях о сложнейших аспектах философии Спинозы как-то не укладывается ни в наши представления о военных мемуарах, ни в рамки академического анализа философских учений. Более того, подобное смешение текстов столь разного жанра скорее можно было бы ожидать в работах молодых приверженцев постмодернизма, нежели в книге советского 80-летнего историка науки.

Однако, если поместить этот фрагмент военных воспоминаний Кузнецова в контекст его историко-философских рассуждений о Спинозе, то появление его имени при описании Сталинградских будней, не кажется странным. Три десятилетия спустя, Кузнецов, пытаясь ответить на вопрос «Играли ли Бог Спинозы в кости?», рассматривал в очерке «Спиноза и Эйнштейн» сложную тему индивидуальной свободы человека и любого тела природы. В частности он отмечал: «Человек смертен, и его впечатления и воспоминания исчезают вместе с ним. Но его идеи и чувства, обращенные к субстанции, приобщают человека к свободной необходимости целого

и к ее вечности. Именно в этой связи Спиноза высказывает уже упоминавшуюся формулу: “Свободный человек меньше всего думает о смерти, он думает о жизни, и в этом его мудрость”» [29, с. 158]. И не столь принципиально, эти ли именно слова повторял про себя Кузнецов (и знал ли он их тогда), важно то, что он мог соединять наблюдавшееся им, переживавшееся им и философские воззрения Спинозы.

В следующем параграфе будет немного рассказано о «странной» для академического ученого книге, в которой Кузнецов, преобразившийся в графа Калиостро, путешествует через эпохи. Это свободное перемещение автора во времени и в пространстве позволило ему акцентировать внимание читателя на логическом сходстве проблем, разрабатывавшихся Спинозой и ощущаемых людьми в момент их вероятной встречи со смертью. На мой взгляд, в этом стилистическом приеме отражен многолетний и глубокий интерес Кузнецова к науке, и его внутренние диалоги с Бахтиным, Булгаковым, Достоевским, а так же знание им русской классической литературы с характерным для нее прерывистым во времени и пространстве повествованием.

Один из итогов военного времени кратко отмечен Кузнецовым в графе о правительственных наградах «Личного листка по учету кадров»: Государственная премия I степени (1942 г.); Орден Трудового Красного Знамени (1945 г.), Орден Отечественной войны I степени (1945 г.), медали. Страна высоко отметила его трудовые и ратные достижения, однако в наших родственных беседах он никогда не возвращался к тем событиям. А в одной из бесед с Филоновичем он вспомнил, что после подвига Александра Матросова в армии прошла волна его повторений. Военное руководство было этим озабочено: солдаты должны воевать, а не умирать. В обязанности Б.Г. как политработника входило разъяснение этого обстоятельства.

В моем представлении, война, ощущения всего виденного и прожитого, размышления о смысле науки и цене жизни кардинально изменили отношение Кузнецова к своему делу. Если раньше, он был «котом, который ходит сам по себе», то теперь он стремился к свободе в физическом и метафизическом – не религиозном, но рационалистическом – смыслах. Чтобы быть свободным в физическом отношении, он вскоре полностью и навсегда отошел от научно-организационных дел в Институте, одним из создателей которого был. Но стать свободным в метафизическом смысле он мог позволить себе лишь после смерти Сталина. То лидирующее положение в историко-научном цехе, которое признает за ним С.С. Илизаров, обусловлено прежде всего тем, что Кузнецов более других его коллег ждал «политическую оттепель» и более других готовился к ней.

Б.Г. Кузнецов – путешественник через эпохи

Этот параграф не привязан к каким-либо событиям в жизни Кузнецова и не соотносится с тем или иным направлением его анализа прошлого науки. Тем не менее, он, конечно же, биографичен и позволяет увидеть, возможно, главную особенность его историко-научных и историко-биографических исследований. Это: глубокое вживание во всю историю становления научной картины мира и достижение высочайшей, удивительной степени интимности, доверительности в общении с мыслителями, физиками, веками создававшими наше видение мира. Книга «Путешествия через эпохи» с уточнением «Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками» [9], о которой выше я обещал рассказать, написана зрелым ученым и отражает его много десятилетний и весьма не прямой путь в науку, начатый в ранние годы жизни. Вот как он сам незадолго до смерти вспоминал прожитое: «Сейчас, когда я приближаюсь к концу жизни, она мне кажется отнюдь не «броуновским

движением», уносившим меня то в экономику, то в энергетику, то в физику, то в философию и историю науки. Напротив, она кажется мне извилистым, но единым путем…» [6, с. 6].

Однако прежде, чем перейти к анализу «Путешествий», приведу несколько первых строк из уже знакомой нам книги Кузнецова «Встречи»; они – ключ и к «Встречам», и к «Путешествиям». Все завязывается так: «Книжка “Встречи” – результат некоторой ностальгии, отчасти пространственной, но в основном временнОй. Она была написана весной 1982 г., во время командировки в Брюссель, куда меня пригласил и. Пригожин для совместной работы с его группой. На расстоянии отчетливее воспоминания о былых встречах, улицах, переулках , садах и квартирах, где они происходили. Но это не было подлинной ностальгией: пространство обратимо <…>. Другое дело – временнАя ностальгия: время необратимо, я больше не увижу моих давних собеседников, и тут грусть воспоминаний была более ощутимой. Впрочем, воспоминания (а может быть, и история как наука) – нечто противостоящее необратимости времени, некий возврат из прошлого в настоящее» [6, с. 3]. В книге «Встречи» нет воображаемых встреч, все – реально состоявшиеся, в «Путешествиях» - наоборот, встречи – это лишь внутренние диалоги Кузнецова с мыслителями, учеными далекого и близкого прошлого. Но дело в том, что Б.Г. обладал такой способностью погружения в прошлое, что часто невозможно найти различие между мысленными и реальными диалогами.

Заголовок данного раздела – это своего рода инверсия заголовка книги Кузнецова «Путешествия через эпохи. Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками» [9]. Подобная логическая операция раскрывает и без того очевидное: содержание книги составляют «мемуары», но не Калиостро, а ее автора – Кузнецова. Это он на машине времени перемещается из одной пространственно-временной точки в другую и обсуждает с величайшими в истории человечества мыслителями извечные проблемы строения мира, а также способы его научного познания и художественного освоения. Он ищет, какой отклик находят речи греческих мыслителей прошлого в сознании Декарта, Ньютона, Эйнштейна, можно ли обнаружить в суждениях ученых более поздних веков ответы на вопросы, заданные много столетий раньше. И если такое соответствие, наложение обнаруживается, то понятие машины времени, считает Кузнецов, можно не ставить в кавычки, она – «простой псевдоним историко-научного углубления в прошлое, сопричастности с прошлым, приобщения к нему…» [9, с. 7].

Приведу несколько первых предложений книги, тогда яснее будет и ее содержание и ее стиль: «Летом 1644 года я путешествовал по северной Голландии, выдавая себя за французского дворянина, уроженца Турени. Очаровательные окрестности Эгмонта задержали меня на несколько дней в этой местности, а затем новое обстоятельство сделало Эгмонт еще более привлекательным. Рене Декарт, поселившийся здесь в предшествующем году, узнал обо мне и пригласил предполагаемого земляка к себе. К этому времени мне уже приходилось встречаться с такими собеседниками, как Платон, Галилей, Гейне и, может быть, самым обаятельным из них – Пушкиным. Но прелесть беседы с Декартом была совсем особенной. <…> Вблизи Декарта мысль приобретает особенную проникающую силу, она пронизывает ближайшие ассоциации, чтобы достичь отдаленных» [9, с. 1]. Эти несколько предложений репрезентируют ряд особенностей книги. Здесь сразу есть «отчет» историка о перемещении через эпохи, имена людей, вклад которых в мировою цивилизацию бесспорен, философичность – я имею в виду тему ассоциаций, признание ценности общения – особенно с Пушкиным и Декартом.

Когда я попросил прочесть еще не завершенный текст этой статьи Дмитрия Тайца, с отцом которого – Аркадием Тайцем [см. выше] – в юности дружили Б.Г. и его брат Моисей Соломонович, Дмитрий так прокомментировал приведенный фрагмент» Мемуаров»: «Начальные слова Б.Г. «Я...выдавая себя за французского...» мне кажутся более значимы для самого Б.Г. и нас, чем просто литературный прием входа в тему художественного произведения. Б.Г. и М.С. – устремлялись, хотели, и думали так... Вольно или невольно, осознанно или не вполне они так самоопределялись «истые европейцы французского стиля» (Пушкина друзья называли «французом»)». И несколько позже Дмитрий прислал такое воспоминание: «Да, забыл дописать, книги, даренные моим родителям, чаще надписаны по-французски, как и мне, например, “Путешествие...”». Слова Дмитрия Тайца мне представляется очень ценными, их следует воспринимать как иллюстрацию к сказанному выше о погруженности Кузнецова во французскую историю и культуру.

Также в цитированном «запеве» книги по сути раскрывается смысл последнего, но смыслообразующего слова в названии книги: «...и другими современниками». Каким-то непонятным образом Кузнецову удается на страницах книги «сжать» время и сделать всех своих собеседников нашими современниками. В одной из, на мой взгляд, самых сильных путевых заметок – «О чем думают химеры Нотр-Дам?» приведен разговор, который почему-то совсем не кажется «фантастикой». Сначала, путешественник, вернувшись после «часовой» отлучки к собору Нотр-Дам, где его ждал Гейне, спросил у поэта: «О чем думают химеры?». Помолчав несколько минут, что для Гейне было большим сроком, он ответил: «Мне кажется, эти химеры размышляют о чем-то очень похожем на физические контраверзы, о которых мы говорили вчера» [9, с. 27]. А «вчера» странник рассказывал Гейне о своих Принстонских беседах с Эйнштейном и вообще о физике XX века. И далее мы оказываемся свидетелями разговора, в котором помимо двух главных собеседников «присутствуют» не только Демокрит и Эпикур, но также Эйнштейн и Маркс. Речь шла об Эпикуровских *clinamen* – спонтанных отклонениях атомов от предписанных им законами природы мест, другими словами, мы соучаствуем в современной дискуссии о природе каузальности. И вот еще пример, совсем уже из «сегодняшнего дня»: «Я вспомнил разговор с Леонардо да Винчи в 1495 году – его панегирик Лоренцо Великолепному и жалобы на условия научной и художественной деятельности в Милане под властью Сфорца и в Риме под властью Борджиа – и рассказал Эйнштейну и Луначарскому об этом различии, не ссылаясь, разумеется, на Леонардо, а в качестве собственной догадки» [9, с. 167].

С «Мемуарами» я познакомился 41 год назад, 16 июля 1975 года; именно в тот день автор подарил книгу моей жене и мне с дарственной надписью: «Дорогим Люсе и Боре от дяди Калиостро». Сегодня эти слова (в первой части статьи отмечалось, что Б.Г. Кузнецов – мой двоюродный дядя) воспринимаются мною как «доказательство» того, что путешествия через эпохи совершались именно Кузнецовым на изобретенной им «машине времени». В то время никаких планов заниматься биографиями у меня не было, как и социологией, как и историей науки. Я воспринимал книгу как удачно найденную форму популяризации знаний по истории науки и по истории физики в частности. А это меня интересовало, потому я сразу начал ее читать.

Более, чем три десятилетия и многие годы собственных занятий историей социологии, конечно же кардинально изменили мое понимание «Путешествий». Как и все написанное Кузнецовым, она – при известной подготовке – легко читается и может рассматриваться как некий синтез истории науки и научной фантастики. Но прежде всего, это оригинальная работа историко-научного и социологического плана, показывающая вечность основополагающих идеалов и ценностей познания

и фундаментальной науки, а также существование некоего неизменного коммуникационного кода, обеспечивающего взаимопонимание ученых и художников, разделенных эпохами. Фантастический сюжет, хотя книга открывается разделом: «О достоверности этих мемуаров», появление машины времени позволили Кузнецову исключить из своих пространственных перемещений время как физическую величину, оставив за ним лишь его «социальную наполненность». Таким образом ему удалось показать вневременной, инвариантный характер фундаментальных ценностей и идеалов науки.

К сожалению, заголовок книги: «Путешествие через эпохи» не передает траекторию движения Калиостро-Кузнецова, он позволяет предполагать, что это было линейное, однонаправленное – от прошлого к настоящему – перемещение, но это не так. В книге нет упорядоченности во времени, и это обеспечивает возможность диалогов странника с его собеседниками. Б.Г. так формулировал принцип своего анализа прошлого: «Но современная ретроспекция, современная машина времени требует жанра арабесок, жанра логически и хронологически неупорядоченных наездов в прошлое. Они не упорядочены логически и хронологически, но отнюдь не хаотичны, они упорядочены психологически, сама внешняя разорванность изложения обладает определенным эффектом; она расшатывает старую систему ассоциаций, сближений и противопоставлений, чтобы дать место новой системе» [9, с. 94]. Такое суждение применительно к научно-историческим текстам и сегодня смотрится как остро постмодернистское (пост-постмодернистское?), но в 1975 году оно могло казаться просто еретическим. Однако Кузнецов усиливает свое суждение, призывая при этом на помощь прошлое: «Арабески – логически разорванные, иногда алогичные переходы от одной сцены к другой, от одного образа к другому, иногда даже от одного жанра к другому – всегда были составной частью научной и философской литературы» [9, с. 94]. И впечатляют следующие слова пилота машины времени: «В своих странствиях по векам я особенно отчетливо понял истоки и значения арабесок, алогизма, выхода за пределы данной упорядоченности, ее подтачивания неожиданными ассоциациями и поворотами, во время бесед с Гёте, Гегелем и, наконец, с Энгельсом» [9, с. 96].

При внимательном ознакомлении с книгой отчетливо осознаешь, что столь сложную «арабескообразную» траекторию движения сквозь столетия мог проложить, а затем пройти вдоль нее лишь штурман высочайшей квалификации. И тогда все сделанное и написанное Кузнецовым до середины 1970-х годов, предстает как уникальный процесс разработки и картирования будущего путешествия через эпохи. И в еще большей степени веришь в подобное допущение, прочитав такие его слова: «Ребенком я часто и мучительно думал о пространстве и о времени, об их бесконечности. Впрочем, мне кажется, многие дети думают об этом, может быть большинство» [9, с. 99]. Возможно, так оно и есть, вопросы, мысли о бесконечности в раннем возрасте у многих порождают размышления, но у большинства детей эти мысли вскоре сменяются другими, тогда для Кузнецова они стали определяющими содержание всей его научной деятельности, а значит – ведь он был убежденным последователем Спинозы и Декарта – всей его жизни. В ряде своих последних работ Кузнецов нередко возвращался к теме интуиции в науке и говорил о Моцартовском мгновении, когда человек как бы слышит всю еще не написанную симфонию. Допускаю, что в какие-то моменты юности, молодости Б.Г. слышал зов прошлых эпох, он манил его и заставлял делать все для того, чтобы такое путешествие состоялось.

Предыдущие параграфы данной статьи основывалась в значительной степени на материалах книги Б.Г. Кузнецова «Встречи» [6], подписанной к печати за полтора месяца до его смерти. Подарена она была мне в конце 1984 года его братом, и в дарственной надписи есть слова: «... в память о Боречке». Тот факт, что в ней собраны

портреты людей, с которыми Б.Г. встречался в разные периоды его жизни, помогло, наряду с другими данными, восстановить его жизненную траекторию, обозначить важнейшие вехи на этом пути. Вместе с тем, содержание и характер бесед, которые Кузнецов вел с этими людьми, удивительным образом сближает его мысленные путешествия, описанные в «Мемуарах», с его реальными встречами.

Например, выше приведенная беседа Кузнецова-Калиостро с Гейне у стен Нотр-Дам моментально вспоминается и становится (почти) реальной при чтении воспоминаний о беседах Кузнецова с академиком И.Е. Таммом в том же скверике. Вот эти несколько строк: «Мы говорили [об этом], гуляя по площади перед Нотр-Дам и затем по скверу сзади храма. Тогда он назывался Сквером Архиепископата. Собор казался воплощением исторической преемственности; его фундамент включает остатки языческого храма, силуэт вписывается в пейзаж современного Парижа, а химеры представляют символ парадоксальной современной научной мысли. О ней-то, об этой парадоксальности, мы и говорили» [6, с. 59]. Или другой очерк Кузнецова – об известном историке Франции А. З. Манфреде, которого он знал с 1927 года. «У меня есть несколько мест в Париже, где я каждый раз при приезде провожу много часов, размышляя о самых разных вещах. Это скамья под огромной плакучей ивой, опускающей свои ветви до поверхности Сены невдалеке от собора Парижской богоматери. Потом – фонтан Медичи в Люксембургском саду. И, наконец, скамья против статуи «Мыслитель» в Музее Родена, во дворе, вернее, в саду старого дворца Бирона. Я предложил Манфреду посидеть и поболтать в одном из этих мест. Он выбрал Музей Родена. Во время одной из предшествовавших поездок в Париж я сидел здесь с И.Е. Таммом, и потом в следующий раз уже без Манфреда я пришел сюда после посещения Луи де Бройля...» [6, с. 59]. И, если учесть, что во «Встречах» есть описание беседы Кузнецова с Луи де Бройлем у него дома, в ходе которой речь шла об инвариантах науки, а в разговоре упоминались имена Бергсона, Пуанкаре, Ланжевена и Эйнштейна, то все самым удивительны образом срастается. «Путешествие через века» становится автобиографическим повествованием редкой, удивительной природы. Здесь биография Б.Г. задается уже не событиями, происходившими в его жизни, а направлениями его размышлений и совокупностью его мысленных диалогов.

Приведу еще один пример легкого, элегантного соединения Кузнецовым реального и историко-фантастического, но через это реальное становящегося воспринимаемого как реальное. Выше отмечался интерес, с каким Б.Г. читал философские построения Ленина, и вот в очерке «Инварианты познания» он рассказывает о своем впечатлении от беседы с Аристотелем и возвращается к своей юности и к значению для него работ Ленина: «...Это впечатление было подготовлено задолго до встречи, вообще задолго до машины времени. В юности я прочел в «Философских тетрадях» В. И. Ленина замечание о разноголосице философских мнений у Аристотеля, о неустоявшемся, ищущем характере его взглядов. Эта оценка стиля мышления Аристотеля внушила мне желание ознакомиться с Аристотелем не только до средневековой догматизации его учения, но и до появления рукописей, из уст самого философа, когда непосредственная и подчас наивная разноголосица и вопрошающая неуверенность, поистине скромный стиль мышления могли быть выражены с наибольшей, впоследствии несколько утерянной яркостью.

Я встретился с Аристотелем во дворце одного восточного деспота, чье царство было только что завоевано Александром Македонским...». Скорее всего, Кузнецов имел в виду конспект Ленина «Метафизики» Аристотеля, включенной в начале 1930-х в «Философские тетради» [9, с. 141–142].

Незадолго до смерти Б.Г. писал: «...меня и в науке интересовало не столько как устроен мир, сколько как меняют синтаксис науки новые представления о мире» – и далее – «по-видимому, я все-таки был рожден для истории и философии науки» [6, с. 41–42]. Конечно, это метафора, но ее содержание наполнено жизненным опытом Б.Г. и потому важно для понимания его жизни и творчества. И следует обратить внимание не только на вывод, в которым просуммировано прожитое-сделанное, но и контекст, в котором сказанное помещено. Это – фрагмент небольшого очерка о встречах Кузнецова с крупным военноначальником и ученым, маршалом инженерных войск Михаилом Петровичем Воробьевым, под началом которого Кузнецов после ранения на фронте служил в последние годы войны. Речь шла и природе, романтике боя, о страхе и интуиции, романтике творчества. И можно допустить, что слово «рожден» использовано здесь не только как антоним слова «смерть», что всегда сопутствует «войне», но также и в смысле плотного, самозабвенного погружения в дело, смыслом которого наполнена жизнь человека. Очерк завершается словами: «Мне кажется, что в книгах по истории современной науки мне удалось, хотя бы в самой недостаточной и малой мере, отразить ее романтику (без такой надежды я, может быть, и писал бы эти книги, но не стал бы их публиковать)» [6, с. 44].

За победой должна была следовать свобода...

Послевоенный период своей работы охарактеризован Б. Г. Кузнецовым в его «Автобиографии», написанной осенью 1968 г.: «В 1944 г. при организации Института истории естествознания Академии Наук СССР был назначен заместителем директора, а позже старшим научным сотрудником. После войны начал работать в области философии и истории физики, а в 50-е годы также в области философского анализа развития современной теоретической физики и в особенности по философии и истории теории относительности. Участвовал в работе многих союзных и международных конгрессов, конференций и симпозиумов по философии и истории науки. Действительный член Международной Академии истории науки и председатель Международного Эйнштейновского комитета» [30].

Анализируя список публикаций Кузнецова в первое послевоенное пятилетие, сразу обращаешь внимание на два обстоятельства. Во-первых, он активно, увлеченно работал и много публиковал; во-вторых, его публикации касались преимущественно истории естествознания в дореволюционной России и СССР.

В 1945–1949 годах были опубликованы следующие книги Б. Г. Кузнецова: «Климент Аркадьевич Тимирязев» (1945 г., совместно с В. Л. Комаровым и Н. А. Максимовым); «Климент Аркадьевич Тимирязев. Жизнь и деятельность» (1945 г., совместно с В. Л. Комаровым); «Ломоносов, Лобачевский, Менделеев: Очерки жизни и мировоззрения» / Предисл. Президента Академии Наук СССР акад. В. Л. Комарова (1945 г.); «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку» (1949 г., в 1951 г. вышло 2-е издание книги с предисловием акад. Н. Д. Зелинского); «Великий русский учёный Ломоносов» (1949 г.)

Если рассматривать эти работы Б.Г. в качестве платформы его будущих исследований, то особый интерес вызывает книга очерков «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку» [31]. Несмотря на безусловно ярко идеологизированное название, характерное для послевоенного времени, в книге обсуждаются темы, которые уже в скором будущем станут центральными, стержневыми для Кузнецова – историка и методолога науки: атомистика, теория электричества и теория света, неэвклидова геометрия и развитие экспериментального естествознания

в первой половине XIX в., а также экспериментальной физики и электротехники и многое другое. Конечно, в этой работе отдана и «дань времени» – рассказывается о достижениях Мичурина и Лысенко в биологии, но тогда это было обязательным.

Однако и отмеченные здесь *биографические* книги весьма значимы для понимания творчества Кузнецова в целом. Ведь пройдет десятилетие с небольшим и появятся его самые известные историко-биографические труды об Эйнштейне и Галилее.

В имеющейся у меня копии машинописного варианта текста профессора А. Т. Григорьянца «О трудах проф. Б. Г. Кузнецова в области философии и истории естествознания», по-видимому написанного в конце 1960-х годов, есть интересное замечание о книге Б. Г. «Творческий путь Ломоносова», первое издание которой вышло в 1956 г. По мнению Григорьянца: «В литературе о Ломоносове мы не найдем книги, которая так отчетливо запечатлела бы время своего появления. В биографии Ломоносова, написанной Б.Г. Кузнецовым, нет ни одного упоминания о науке середины XX столетия. Но, несмотря на это, читатель все время чувствует, что только в середине XX столетия, во времена весьма радикальной ломки классических понятий, могла быть написана лежащая перед ним монография об ученом XVIII в.» [45]. Позже, эта пронизанность, пропитанность современностью еще в большей степени проявилась в книгах и статьях Кузнецова не только об Эйнштейне, но о Галилее, Спинозе, Декарте, Ньютоне, даже о Лукреции и Эпикуре. Здесь мы имеем дело с одной из характеристик исследовательского стиля Б.Г., о чем сказано выше. Уже в заголовке его «странной» книге «Путешествие через эпохи» время «снято», все помещено в «толстом настоящем».

Поскольку оказалась затронутой тема М. В. Ломоносова, сделаю одно замечание, касающееся и Б.Г., и отношения лежавшей в руинах послевоенной страны к истории. В каталоге Российской национальной библиотеки в Петербурге я обнаружил вряд-ли называвшуюся когда-либо небольшую брошюру Кузнецова (19 стр. с портретом Ломоносова), изданную в Москве издательством «Молодая гвардия» в 1945 г. Ее название – «Великий русский ученый Ломоносов». Но есть у нее несколько необычное для подобных книг уточнение – «Читано для ремесл. ж.-д. училищ и школ ФЗО [БД: ФЗО – фабрично-заводского обучения] 23 мая 1945 г. Тираж книжки по нынешним временам совсем немалый – 15000 экз. Интересный историко-социологический момент: через две недели после завершения войны в стране проводятся Ломоносовские чтениям для в общем-то мало грамотных ребят, и для них специально выпущена книга по истории науки.

Теперь попытаемся понять природу тематики исследований Б.Г. Кузнецова в первые после военные: чем она была обусловлена и могла ли она быть иной? Очевидно, большого выбора у историков науки не было, направленность их поисков определялась решениями высших идеологических инстанций. Так, в выступлении Президента АН СССР, академика В.Л. Комарова «О задачах института истории естествознания АН СССР», сделанном в 1945 г., отмечалось: «Товарищ Сталин лично подчеркнул важность истории естествознания и необходимость создания Института истории естествознания в системе Академии Наук СССР» [32]. И качестве важнейших объектов исторических исследований Комаровым назывались: принцип сохранения энергии и атомизма, разрабатывавшийся Ломоносовым, вольтова дуга, открытая Петровым, неевклидова геометрия Лобачевского, теория химического строения Бутлерова, периодический закон Менделеева, Мечниковская теория фагоцитов, Сеченовские центры, эмбриологические открытия и палеонтологические работы братьев Ковалевских, исследования Тимирязева в области физиологии растений, теория условных рефлексов Павлова, новые виды растений, созданные Мичуриным, кон-

струкции Циолковского и др. Все это мы видим в названной выше книге Кузнецова «Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку». И иного в ней не могло быть.

Прошло четыре года, и в начале января 1949 г. в Ленинграде состоялось Общее собрание Академии Наук СССР, которому предшествовала сессия отделений АН, посвященная вопросам истории дореволюционной и советской науки. Интересно, что Б.Г. Кузнецов участвовал не в работе Отделений физико-математических или технических наук или истории и философии, но в сессии Отделения биологических наук; тема его доклада, а их на сессии всего-то и было два: «Теория стадийного развития и общая история естествознания». Таким образом, можно сказать, что за прошедшие после войны нескольких лет Б.Г. стал признанным историком в области естественных наук. По завершении работы Отделений состоялось общее собрание Академии наук, принявшее Постановление о развитии научно-исследовательских работ в области истории отечественного естествознания и техники. Этот документ начинается словами: «Общее собрание Академии Наук СССР, руководствуясь постановлениями ЦК ВКП (б) по идеологическим вопросам и указаниями товарища И. В. Сталина о значении марксистско-ленинской разработки истории науки, отмечает настоятельную необходимость решительного улучшения и расширения работ по истории науки и техники. Социализм впервые в истории сделал доступными народу все духовные богатства, накопленные человечеством, все достижения культуры, науки и искусства. Своими гениальными трудами великие вожди коммунизма Ленин и Сталин открыли новую эпоху в развитии науки об обществе и природе. Передовые деятели русской науки создали такие ценности, которые вошли в фонд самых крупных достижений мировой науки и техники» [30].

С моей точки зрения, содержание подобных документов не требует комментариев, они однозначно показывают, что пространство исследований историков науки в послевоенный период было весьма узким, более того, была задана и точка зрения на предмет их анализа.

Вместе с тем, прошлое русской науки было лишь малой частью научных интересов Кузнецова уже в то время. Из выше приведенного воспоминания о фронтовых годах видно, что даже в те драматические периоды жизни (возможно, с еще большей сосредоточенностью, чем в довоенное время) Кузнецов размышлял о теории относительности Эйнштейна и учении Спинозы, а зная ход мыслей Б.Г., можно утверждать, что и тогда в фокусе его внимания были Ньютон и Галилей, Декарт и Бруно, многие античные философы. Конечно, и в первые после военные годы, Б.Г. продолжал размышлять о генезисе их учений и об особенностях их картины мира, но все же, рассматривая достижения Западно-Европейской философской и научной мысли, он не мог удалиться от российской тематике. Так, еще накануне войны, в «Правде», по случаю 300-летие работы Декарта «О методе» была опубликована его заметка «Декарт и русская наука» («Правда», 1937, 2 августа), а в 1946 г. на конференции, посвященной 300-летию со дня рождения Г.В. Лейбница Кузнецов выступал с докладом «Лейбниц и русская наука XVIII в.», который двумя годами позже составил содержание его статья «Эйлера и учение Лейбница о монадах». В те же годы выходят и другие его работы о классиках естествознания: «Абсолютное пространство в механике Эйлера» (1946 г.) и «Относительное и абсолютное движение у Ньютона» (1948 г.). А в начале 1950-х статьи о Галилеи и Максвелле.

Можно понять, что 40-летнему историку науки, который во второй половине 1930-х обсуждал принципиальные вопросы истории и философии науки с Вернадским, Кржижановским, Комаровым, было тесно в рамках заданного сверху послевоенного историко-науковедческого пространства. Он много глубже своих советских, думаю, и многих зарубежных, коллег по цеху понимал, что в первой половине

XX столетия возникла новая наука, которая предлагала новое видение устройства мира и которая требовала своего направленного исторического и философского прочтения. Соответственно, он опередил многих в осознании того, что нельзя замыкаться на анализе творчества Ломоносова, Лобачевского, Бутлерова, Менделеева, Лебедева, но необходимо пытаться понять концептуальные схемы физиков новых поколений: Эйнштейна, Бора, Гейзенберга, де Бройля, Шредингера и других.

В моем представлении, война, ощущения всего виденного и прожитого, размышления о цене жизни и смысле науки кардинально изменили понимание Б.Г. предмета своих исследований и макро ситуации, в которой он – «времена не выбирают» – должен был разрабатывать открывшееся ему исследовательское поле. Если до войны он был, повторяя сказанное Кржижановским о молодом Кузнецове, «котом, который ходит сам по себе», то теперь он стремился к свободе в физическом и метафизическом – не религиозном, но рационалистическом – смыслах. Чтобы быть свободным в физическом отношении, он вскоре полностью и навсегда отошел от научно-организационных дел в Институте истории естествознания и техники АН СССР, одним из создателей которого был. Но стать свободным в метафизическом смысле ему не позволяла социально-политическая обстановка в стране. Легко предположить, что, будучи уже сложившимся ученым, автором многих книг, лауреатом высшей по тем временам награды в области науки, он понимал свою обреченность на «молчание». И в этом отношении, скорее всего, он испытывал те же чувства, что и некоторые писатели, которые родились в первые полтора десятилетия XX столетия, начинали писать до войны, участвовали в боевых действиях или наблюдали их непосредственно на передовой, но «заговорили» лишь в оттепельный период. Прежде всего, я имею ввиду Василия Гроссмана, Эммануила Казакевича, Виктора Некрасова, Анатолия Рыбакова; невозможно не заметить, что Гроссман и Некрасов тоже прошли через Сталинград.

Как мы знаем теперь, многие литераторы в конце 1930-х и после войны писали в стол, поступал ли так же Кузнецов или история науки далека от идеологии, от современности и проблем с публикациями текстов у него не могло возникнуть? Определенного ответа на этот вопрос у меня нет, но представляется мне, что искать его надо в следующей плоскости.

Конечно же, и наука, и анализ развития науки – производные от состояния общества, в котором они существуют и развиваются. Приведу название некоторых книг, опубликованных Кузнецовым в первые десять лет после смерти Сталина. Сначала укажу четыре из них: «Развитие научной картины мира в физике XVII–XVIII века» (1955 г.), «Основы теории относительности и квантовой механики в их историческом развитии» (1957 г.), «Принципы классической физики» (1958 г.), «Альберт Эйнштейн: К 80-летию со дня рождения» (1959 г.). Зная, многие особенности исследовательского и издательского процессов, сложно представить, даже принимая во внимание то, насколько «легко» писал Кузнецов, чтобы он за столь короткий срок подготовил «с нуля» и опубликовал в 1955–1959 гг. четыре книги по проблематике, крайне мало соотносившейся с той, которую он разрабатывал до войны и в первые послевоенные годы. Значит, важнейшее из всего этого обдумывалось раньше и записывалось «до лучших времен». Но это было лишь начало, в следующие несколько лет в свет вышли: «Эволюция картины мира» (1961 г.) «Эйнштейн» (1962 г.), «Развитие физических идей от Галилея до Эйнштейна» (1963 г.), «Беседы о теории относительности» (1963 г.). Никакие из этих книг не могли быть изданы до середины 1950-х: теория относительности, квантовая физика трактовались в послевоенные годы как идеалистические, не отвечавшие марксизму, лженаучные, как продукты буржуазной науки.

Кузнецов отчетливо понимал, что новая физика, новая наука в целом, а вместе с ними – и история науки, не могут развиваться в условиях жесткого идеологического давления со стороны ортодоксальных советских философов, наблюдавшегося во второй половине 1940-х. Как ученый, после долгого перерыва вернувшийся к своему любимому делу, как человек, уцелевший в конце 1930-х, как участник войны, понимавший, что наблюдавшаяся им в области науки ситуация грозит многими опасностями, он – в силу своих возможностей – пытался решать этот комплекс проблем.

Письмо Сталину: это всегда был и знак надежды, и шаг отчаяния

Письмо Б.Г. Кузнецова И.В. Сталину, а позже – письма А.А. Жданову, о которых речь пойдет ниже, в те годы были и актом надежды на решение проблем, в которых оказывалась творческая личность, и шагом отчаяния. То, что заранее итог такого обращения предсказать было нельзя, убедительно показал в своем 4-х томнике Б. Сарнов «Сталин и писатели». Интересная статья Ю.И. Кривоносова [33] убеждает, что Кузнецов, обращаясь на «самый верх», действовал в полном соответствии с традициями того времени.

Прежде всего обратимся к краткому тексту Кривоносова, предшествующему изложению фрагментов письма Кузнецова Сталину: «В тоталитарных государствах взаимоотношения власти и науки были деформированы, безоговорочное подчинение господствовавший идеологии и политическая лояльность были для власти часто важнее новых фундаментальных научных результатов. В отечественной науке XX века сложилась ситуация, когда власть взяла на себя функции главенствующего арбитра и в решении чисто внутренних методологических проблем науки. Это обусловило необходимость прямого обращения ученых во властные структуры, что властью, как правило, поощрялось. Помимо необходимой и неизбежной деловой переписки различных научных структур с аппаратом управления всех уровней, огромный объем составляли «инициативные» индивидуальные и коллективные письма по большому спектру научных, но главным образом, околонаучных, проблем. В государственных и партийных архивах отложилось огромное количество подобных обращений ученых и людей, причислявших себя к ученым и специалистам в той или иной области знаний».

Письмо Кузнецова, найденное Кривоносовым в архиве Отдела науки ЦК ВКП(б), датировано 27 марта 1946 г., оно было направлено лично Сталину и озаглавлено «О недостатках в теоретической работе партии в области естествознания, препятствующих исследованию и использованию атомной энергии». По мнению Кривоносова, это письмо в определенной мере, предвосхищало будущие острые дискуссии по проблемам «материализма и идеализма» в физике, несколько притихшие в годы войны и развязанные в начале пятидесятых годов борцами за чистоту диалектико-материалистических идеалов.

Цель своего обращения к Сталину Б.Г. формулировал следующим образом: «Я решил обратиться к Вам по вопросу о коренном повороте в теоретической работе партии в области естествознания, так как глубоко убежден, что превращению СССР в мировой центр ядерной физики, при неограниченных возможностях, предоставленных науке, препятствует только одно: догматическое извращение марксизма в области естествознания, приведшее к ликвидации философии естествознания как науки. В особенности вредным стало некритическое и догматическое отношение к некоторым формулам «Диалектики природы», которые уже не соответствуют современным знаниям. Это привело к тому, что некоторые близкие нам ученые разрабатывают и преподают устаревшие физические теории – физику, хорошо укладывающуюся в формулы «Диалектики природы», физику XIX века, хотя с помощью этой физики нельзя исследовать и использовать атомное ядро».

Рассматриваемое письмо было написано 70 лет назад и для его понимания необходимы некоторые пояснения. Работа Ф. Энгельса «Диалектика природы» в те годы и на протяжении нескольких следующих десятилетий рассматривалась в СССР как основополагающий труд по законам диалектики и философии естествознания. Хотя все знали, что Энгельс работал над ней в конце 1870-х – начале 1880-х, и понимали, что и сами науки претерпели серьезные изменения, и картина мира принципиально изменилась, «Диалектика природы» была канонизирована и оставалась, по определению, вне критики. Так что утверждение Кузнецова о невозможности преподавания физических теорий на базе «Диалектики природы» могло обернуться для него крупными неприятностями. Еретическими могли быть признаны и слова Кузнецова в адрес философов, составлявших ядро журнала «Под знаменем марксизма» (замечу, до войны он публиковался там): «В течение долгого времени все новое в физике, все не предусмотренное «Диалектикой природы» изгонялось, объявлялось подозрительным по идеализму. Многие ученые боялись разрабатывать новейшие физические теории. Основой такого положения была позиция товарищей, присвоивших себе монопольное право судить о философском смысле физических теорий. Они совершенно не ставили новых проблем, да и вообще не писали никаких работ кроме обзоров, критических разносов, предисловий и т.п.». Поясню, этот журнал был главным теоретическим органом партии и определял, соответствовали или противоречили марксизму-ленинизму результаты исследований физиков, биологов и представителей других направлений естествознания.

По мнению Кривоносова, Кузнецов в письме Сталину одним из первых в послевоенный период заявил о формировании в МГУ сплоченной реакционной физической школы, считавшей вредным новшеством физические теории, полностью признанные и экспериментально подтвержденные тридцать-сорок лет тому назад. Он приводит следующие слова Кузнецова о деятельности университетских физиков: «Эта группа начала исключать из рядов партии ученых, высказывающих современные взгляды. Сейчас советская философская мысль не включает обобщения новых естественнонаучных открытий, не указывает естествознанию дальнейших путей, не воспитывает в среде естествоиспытателей стремления к новым открытиям, не учит их пользоваться методологическими принципами марксизма <...>». И цитирует вывод Кузнецова: «Недостатки в теоретической работе по общим, философским проблемам естествознания уменьшают ведущую роль мировоззрения партии в развитии естествознания и мешают Советскому Союзу полностью использовать свои идейные преимущества в работе над атомной энергией».

Архивные изыскания Кривоносова показали, что письмо Кузнецова и приложенная к нему его объемная статья «Атомная энергия и философия естествознания» к Сталину не попали. Что, замечает Кривоносов: «возможно было лучше для Б.Г. и через месяц после получения с “препроводиловкой” помощника Сталина – Поскребышева – были переданы «на рассмотрение» секретарю ЦК ВКП(б) А. А.Жданову, ведавшему наукой и культурой. Тот, в свою очередь поручил ознакомиться и сообщить свое мнение» начальнику Управления Агитпропа ЦК Г. Ф. Александрову.

Кривоносов отмечает также, что в том же 1946 году Кузнецов направлял секретарю ЦК ВКП(б) А. А. Жданову два документа, в которых, наряду с другими, ставился вопрос о работах над получением и применением атомной энергии. Здесь Кузнецов предстает не только как историк физики, но и как эксперт в области развития энергетики. Он предлагал принять участие в Международном техническом конгрессе в Париже, программа которого предусматривала обсуждение проблем: реконструкции и восстановления мирового хозяйства; атомной энергии; современного развития техники; международного объединения научно-технических деятелей.

В опоре на свои разработки первой половины 1930-х, Б.Г. предлагал выступить с проектом международных электрических передач для объединения энергохозяйства Европы и снабжения промышленности центральной Европы и Балкан энергией от электростанций, построенных в СССР. И еще в одном из документов, направленных Жданову, говорилось о поддержке международной федерации ученых: «Как известно в американских и английских научных кругах, особенно среди физиков, симпатии к Советскому Союзу очень значительны. Во Франции крупнейшие физики – члены коммунистической партии. Мне кажется, что пришло время, когда можно направить мировое общественное мнение ученых, и даже саму их работу, в сторону интересов СССР и против антисоветских происков. Для этого было бы рационально организовать из наиболее левых выдающихся физиков, химиков и других естествоиспытателей, организационный центр международной Федерации ученых, ставящих перед собою цель способствовать мирному использованию новейших открытий и предотвратить их монопольное, агрессивное военное применение».

По мнению Кривоносова, одним из побудительных мотивов обращения Б.Г. к Сталину могло быть его стремление заявить о себе в связи с намечавшимися выборами в Академию Наук. Мой анализ биографии Кузнецова, его деятельности в период, предшествовавшей этим событиям и в последующие почти сорок лет, и многолетнее личное знакомство с ним позволяют сказать, что такой мотив его обращения к Сталину не мог быть доминирующим, хотя, допускаю, он мог существовать. Во-первых, скорее всего, это было не первое его письмо к вождю. Выше приводилась фраза из дневника В.И. Вернадского от 20 ноября 1938: «Б. Г. Кузнецов о ликвидации Института] ист[ории] науки. Решение 15-го неожиданное. Комаров с ним (беседовал) по возвращении. Думаю, что Деборина испугала ответственность. Куз[нецов] обратился к Сталину». Тогда ситуация была очень сложной, академик Деборин, отошел в тень, но 35-летний доктор наук, который регулярно общаясь с академиками Вернадским, Комаровым, Кржижановским, Ферсманом, безусловно и думать не мог о членстве в Академии, боролся за сохранение Института (замечу, безуспешно). Во-вторых, Кузнецов, только вернувшийся с войны и лишь входивший в серьезную историко-научную проблематику, прекрасно осознавал, что не имеет никаких оснований рассчитывать на членство в Академии Наук.

Вместе с тем, я склонен думать, что обращение Кузнецова к Сталину, наверное, можно рассматривать как своего рода защитное действие Б.Г. в атмосфере надвигавшейся борьбы с «безродными космополитами». Во-первых, развернувшись в сторону изучения истории теории относительности и квантовой механики, он мог быть обвинен в приверженности к западным идеалистическим, антимарксистским философском взглядам. Во-вторых, эта кампания, имевшая явно и антисемитскую направленность, могла и этим крылом накрыть его, все «знающие» люди, помнили, что по рождению Кузнецов – Шапиро, да он никогда и не скрывал своего еврейского происхождения. А о том, что ситуация была весьма напряженной, непростой можно прочесть в историко-научных исследованиях. И в первую очередь я отметил бы две статьи А.С. Сонина, доктора физико-математических и химических наук, кристаллофизика и историка науки, опубликованные в 1991 г. в Вестнике РАН [34], [35].

В латентной форме кампания против космополитизма и одновременно – против физического идеализма началось на физическом факультете МГУ в середине 1940-х годов и концу того десятилетия она приобрела открытую и агрессивную форму.

В историю советской физики вошла дискуссия по поводу статьи будущего академика А. А. Маркова «О природе физического знания», опубликованной в «Вопросах философии» (1947, №2). Предвидя нападки на эту работу, в ней речь шла о философских основах квантовой механики, редакция предпослала тексту Маркова предисловие президента АН СССР С. И. Вавилова. Уже в следующем номере журнала

появились отклики на статью Маркова. Среди поддержавших проделанный им анализ были физики Д. И.Блохинцев, М. Г.Веселов, М. В.Волькенштейн, а также Б.Г.Кузнецов. Однако были рецензии, содержавшие резкие идеологические обвинения автора. Так, один из критиков видел главный порок статьи в игнорировании Марковым основного принципа материализма – принципа партийности в науке. Другие отмечали, что он «не подвергает беспощадной и принципиальной критике Гейзенберга, Бора и других зарубежных физиков и философов, делающих из квантовой теории идеалистические выводы». 10 апреля 1948 года чл.-кор. АН СССР, в то время – профессор философского факультета МГУ А. А. Максимов изложил свои критические рассуждения в «Литературной газете» в статье «Об одном философском кентавре». В частности он писал: «Боровское истолкование соотношения неточностей квантовой механики есть отход от материализма», «философские воззрения Н. Бора – типичный продукт идеологической реакции, порождаемой эпохой империализма в буржуазных странах. Философские воззрения Н. Бора — тот самый нежизнеспособный продукт, отброс, который подлежит, по определению Ленина, отправке в помещение для нечистот».

Одно из знаковых событий тех лет – статья названного выше А. А. Максимова опубликованная в 1952 г. в явно непрофильном издании – газете «Красный флот» [36]. В ней утверждалось, что «теория относительности Эйнштейна, несомненно пропагандирует антинаучные воззрения по коренным вопросам современной физики и науки вообще. Воззрения Эйнштейна повели физику не вперед, а вспять как в отношении теории познания, так и метода. Уже многие физики сознают, что теория относительности Эйнштейна – это тупик современной физики».

Статья Максимова была настолько невежественной и антинаучной, что в конце 1952 г., незадолго до смерти Сталина, она вызвала обращение группы академиков, среди которых были А. П. Александров, Л. А. Арцимович, Л. Д. Ландау, А. Д. Сахаров, И. Е. Тамм и другие, с письмом к Л. П. Берии, возглавлявшим проект по созданию советской атомной бомбы [37]. Начиналась оно словами: «Мы обращаемся к Вам в связи с ненормальным положением, создавшимся в советской физике. Это положение является результатом ошибочной и вредной для интересов советской науки позиции, которую заняли некоторые из наших философов, выступающих по вопросам философии физики». Далее отмечалось, что некоторые из философов, «не утруждая себя изучением элементарных основ физики и сохраняя в этой области полное невежество, сочли своей главной задачей философское «опровержение» важнейших завоеваний современной физики. Основной атаке со стороны этой группы философов подвергается теория относительности и квантовая теория, лежащие в основе всей современной физики и представляющие собой теоретическую базу электронной и атомной техники». В целом, в этом письме утверждалось то, о чем писал Б.Г. Сталину еще в 1946 году. А ведь в отличии от них Кузнецов не был защищен «броней» из секретного характера спецработ, звезд героев и академических званий.

В моем понимании творчества и жизни Кузнецова, его письмо Сталину и обращения к Жданову прежде всего были продиктованы не стремлением стать членом АН СССР, а принципиально иной причиной, очень личностной и очень глубокой. Как человек, фронтовик Б.Г. научился смотреть смерти в глаза и сдерживать, подавлять страх (замечу, отчасти, мыслями о науке, о постижении мира...). Но как ученый он «боялся смерти» – не успеть сделать задуманное.

Но, думаю, существовало и более глубокое чувство, чем «страх смерти». По-видимому, еще в ранней молодости Кузнецов знал, осознал и принял для себя в качестве важнейшей ценности утверждение Декарта и вслед за ним Спинозы cogito, ergo sum (мыслю, значит существую). Б.Г. почти отождествлял понятия

«жить» и «свободно мыслить». Незадолго до смерти он писал о *радости познания* и соответственно *радости бытия,* «которую ощущает ученый, когда у него блеснет новая мысль и вместе с ней откроется еще не познанное – предмет новых размышлений. Это момент, когда мыслитель не думает о себе, но вместе с тем ощущает смысл своей жизни» [8, с. 254].

Пропустим четыре десятилетия: иное время, иные вожди, но опять обращение наверх. Кузнецов видел приближение тупика и снова пытался привлечь внимание властей к исследованиям в области истории науки. Вот что в начале 90-х вспоминал физик и историк физики В. Я. Френкель: «Упомяну еще об одном издании, менее известном у нас и также связанном с именем Кузнецова. Это пятитомное собрание «Наука XX века», вышедшее на французском языке под его редакцией и по его инициативе во Франции (осуществлялось оно советскими авторами через посредство Агентства печати Новости). Совместно с профессором В.М. Шехтером мне довелось, по предложению Бориса Григорьевича, подготовить к печати один из томов — «Физика XX века». Он был опубликован в 1976 г., и в течение всего времени работы над ним мы ощущали поддержку Кузнецова. Когда все издание было завершено, он загорелся идеей выпустить его расширенный вариант на русском языке. Для реализации столь масштабного предприятия требовалась мощная поддержка. В то время на смену Л. И. Брежневу пришел Ю. В. Андропов, и в 1983 г. Кузнецов послал ему имевшиеся у него экземпляры издания с письмом, в котором объяснил цели и необходимость перевода на русский язык. Он был очень доволен, когда получил быстрый ответ Андропова, обещавшего свою поддержку. Но вскоре не стало Андропова, а потом и самого Бориса Григорьевича…» [1].

Социология науки как инструмент самопознания науки

Цель настоящего небольшого параграфа заключается в первичной аргументации необходимости и оправданности расширения сложившихся к настоящему моменту представлений о характере и направленности исследований Б. Г. Кузнецова. В начале статьи были приведены мнения специалистов, согласно которым Б.Г. может быть признан одним из ведущих в мире и в нашей стране историков и философов науки. Проведенный анализ его творчества, думается, дает мне право утверждать, что Кузнецов был и оригинальным, уникальным *социологом науки*, наметившим для будущих поколений социологов и науковедов новые исследовательские задачи и концептуальные подходы к их решению. Задумывая и начиная изучение биографии Б.Г., у меня не было подобного взгляда на его научное наследие, но сейчас, суммируя известное мне о сделанном им, такое утверждение представляется мне естественным. И я задумываюсь, почему оно не возникло у меня раньше и почему никто из наших историков социологии не писал о Кузнецове как о коллеге? В целом ответ прост, никто и не ставил перед собой задачу оценить в совокупности сделанное им, перечитать его книги, представить миры гигантов науки и духа, в которые он пытался проникнуть, исследовать дискурс его текстов, расшифровать особенности его мысленного общения со своими очень непростыми героями и т.д.

Возможно, некоторое продвижение в поисках ответов на эти вопросы упростится, если уложить сделанное Кузнецовым как социологом науки в привычное для социолога категориальное пространство.

Объект исследования: фундаментальная наука, прежде всего физика, и ее творцы.

Предмет исследований: в самом общем случае – это генезис фундаментальной науки и ее эволюция. Весьма непросто детализировать предметную сферу поисков Кузнецова, но, безусловно, она включает в себя: науку античного и средневекового периода, рационалистические научные представления о мире в эпоху

Возрождения, картезианскую физику, истоки и значение физико-математических построений Ньютона, становление термодинамики и электромагнитной картины мира, теорию относительности и квантовую механику. Одновременно здесь следует сказать о многолетних направленных исследованиях Кузнецовым идеалов и ценностей науки, а также – ее будущего. Следствием стремления к столь широкому охвату направлений физики, скорее – физических и философско-физических представлений о строении мира, стало и большое число мыслителей, ученых, философов, оказавшихся в поле биографического анализа Кузнецова. Им написаны книги об Эйнштейне и Галилее, Ньютоне и Бруно, Ломоносове и Менделееве, очерки о Лукреции и Эпикуре, Спинозе и Декарте, Эйлере и Лобачевском и о многих других исследователях, внесших значительный вклад в физику и в наши представления о мире.

Методология исследований: Вопрос о методологии историко-научных исследований Б.Г. Кузнецова представляется мне одним из самых интересных и трудных при изучении его творчества. Сложность ответа на него определяется прежде всего тем, что, как показано выше, его исследования в этой области начались в середине 1930-х годов и продолжались около полустолетия и, несомненно, его методология менялась и в следствии приобретения им нового опыта, и как рефлексия на макро социальные изменения в советском обществе, и в ответ на тренды в методологии исторического познания в целом.

Методы исследований: весь комплекс историко-научных приемов, методы культурологических исследований, приемы биографического анализа.

Мне не известны работы советских и российских социологов науки, в которых рассматривались бы принципы анализа Кузнецовым эволюции физики и творчества естествоиспытателей и философов, живших в разные эпохи. Так же я не знаю и его собственных публикаций по методологии проводившихся им историко-научных исследований. Первое из этих обстоятельств я связываю с трудностью предмета разработок Кузнецова, второе – со спецификой его научных интересов, желанием постоянно углубляться в познание эволюции науки и биографии своих героев, но не в методологию и технологию своих поисков.

Но все же определенную «зацепку» для начала изучения исследовательский методологии Б.Г. мне удалось найти в одной из его последних книг – «Идеалы современной науки» (1984 г.), которая, на мой взгляд, много «социологичнее», чем его другие монографии.

Обсуждая вопрос о том, может ли современная наука быть объектом исторического анализа, Кузнецов указал на тему самопознания науки и называл социологию науки среди других специфических для XX в. средств самопознания. А далее он отметил, что такая обновленная история науки «смыкается с дисциплиной уже существующей в литературе по общей истории и получившей название *историологии*». Под историологией науки он понимал: «анализ проблемы генезиса науки, ее предмета и метода, общих принципов, периодизации, всего того, что выходит за пределы отдельных периодов, берет весь исторический процесс развития науки в целом. Эта дисциплина соединяет гносеологию с историографическим описанием эпох, периодов, отраслей, национальных школ, создания и развития центров науки» [8, с. 18].

Таким образом, в качестве рабочей гипотезы о характере методологии историко-научных исследований Кузнецова можно принять допущение об их историологической природе. Обращение к некоторым его довоенным и первым послевоенным статьям и книгам позволяет уже в них видеть атрибуты историологии науки, и в принципе в этом нет ничего удивительного. Ведь историологию науки можно трактовать как синтез историографических, культурологических и социально-психо-

логических подходов к изучению генезиса и развития науки, а также природы научного творчества. Сложно сказать, под воздействием каких обстоятельств Кузнецов начал работать именно в этом ключе. Но предположить можно, он двигался от анализа и решения задач энергетики в сторону истории науки во многом под влиянием общения с В. И. Вернадским и В. Л. Комаровым, для которых было характерно масштабное понимание процессов развития науки. И безусловно, Кузнецов не мог не знать многочисленных работ Н. И. Кареева о сути исторических процессов и роли личности в истории, его книгу «Историология. Теория исторического процесса» (1915 г.).

Прошло три десятилетия после смерти Б.Г., сейчас историологию науки часто рассматривают в качестве ветви социальной эпистемологии науки, направления познания генезиса и развития науки, синтезирующего в себе философию, историю и социологию науки. Как отмечает Е. А. Мамчур, Т. Кун и П. Фейерабенд, признаваемые основоположниками социальной эпистемологии, исходно относили себя к философам науки, но позже стали считать себя социологами познания [38]. Безусловно, при жизни Кузнецов не мог быть отнесен к советским социологам науки, ибо он в любом случае работал в рамках феноменологической парадигматики, постепенно ставшей признаваться в России лишь после перестройки.

Когда данная статья в целом была закончена, я направил ее специалистам, работающим в области социологии и истории науки, меня прежде всего интересовало их отношение к тому, что в исследовательском пространстве Б.Г. Кузнецова я обнаружил и социологию науки. И мне приятно отметить, что мои коллеги поддержали меня.

Е. А. Мамчур, уже многие годы изучающая закономерности развития научного знания, а также проблемы этики науки и вопросы взаимоотношения эпистемологии и психологии, написала (14 августа 2016 г.): «...Конечно я знала, что Б. Г. Кузнецов был отличным социологом науки, но ведь он был не только социологом науки, но и науковедом и историком и даже эпистемологом. Сейчас на такое «междисциплинарье» претендуют многие исследовательские группы. Но уж социолог науки – это точно о Б.Г. Так что все в порядке».

А вот что в тот же день ответил на мои вопросы А. М. Никулин, экономист, социолог, автор нескольких книг по истории социологии: ««Что Б. Г. Кузнецов – социолог науки, это для меня очевидно с тех пор, как А. П. Огурцов и Г. С. Батыгин в своих социологических курсах в МВШСЭН с большим почтением ссылались на Кузнецова, именно, в контексте социологии науки». Замечу: А. П. Огурцов (1936–2014) – известный российский философ и культуролог, Г. С. Батыгин (1951–2003) – известный российский социолог и историк социологии.

В плену его человеческого обаяния

Представляя Б.Г. Кузнецова в начале этой статьи, я привел слова Ильи Пригожина об *интеллектуальном обаянии* Б.Г., которое обладало каталитическим действием, и назвал ряд имен крупных физиков и историков науки, признававших это свойство личности Кузнецова. Если учесть, что в ранней молодости он постоянно общался с такими выдающимися исследователями и мощными личностями, как Вернадский, Комаров, Кржижановский, Иоффе, Ферсман, встречался с народовольцами А. Н. Бахом и Н. А. Морозовым, хорошо знал А. И. Опарина и О. Ю. Шмидта, а также многих выдающихся физиков, энергетиков, деятелей культуры и искусства, если вспомнить, что уже 20-летним, в студенческие годы, он активно преподавал философию и экономику людям старшим его, то можно допустить, что такими коммуникационными способности он был наделен с рождения.

Ниже будут рассмотрены фрагменты воспоминаний нескольких людей, знавших Б. Г. Кузнецова, беседовавших с ним в домашних обстоятельствах не только по историко-научной тематике, и это поможет понять его *человеческое обаяние*, которое, прежде всего, конечно же, было интеллектуальным, но не только. И, поскольку я сам ощущал это обаяние и прекрасно его помню, то, не боясь субъективности, она здесь абсолютно уместна, сначала расскажу о Б.Г. сам. Я жил в Ленинграде, но достаточно часто бывал в Москве; до середины 1960-х его семья жила в центре города на Большом Спасоглинищевском переулке, а потом переехала на Новопесчаную улицу, недалеко от станции метро «Сокол». Я стал осваивать Москву в начале 60-х и тогда останавливался на Спасоглинищевском, где мне ставили раскладушку в кабинете Б.Г., позже я жил в квартире его брата и двоюродной сестры на Живописной улице, когда еще не было станции метро «Щукинская» и весь район воспринимался как огромный парк. Но, если я оставался на ночь у Кузнецовых, то мне отдавался диван в кабинете Б.Г.

Б.Г. был среднего возраста, подтянутый, в юности и молодости он и его брат занимались спортом, в их домах были шведские лестницы, гантели, эспандеры, они всегда старались хорошо, по-щегольски одеваться. В довоенные годы друзья Б.Г. сравнивали его с известными американскими киноактерами. Даже дома, совсем не потому, что я приходил, Б.Г. всегда был в свежей рубашке и начищенной обуви. Я не помню его без галстука, в мятых домашних брюках и тапках. Я стал бывать в Москве в начале 1960-х годов, и тогда у нас не могло быть историко-научных разговоров, но я всегда получал в подарок новые книги и постепенно осваивал их содержание. Я не помню разговоров с Б.Г. о политике, о быте; его мысли были в другом пространстве. На его столе почти всегда был только что начатый или завершавшийся текст: ровные, почти без помарок строчки мелких букв. Он рассказывал мне о том, что в тот момент его волновало, и он не очень беспокоился относительно того понимал ли я его. Похоже, он проговаривал только что написанное или то, что ему предстояло написать.

Очевидно, что наш разговор не мог быть дискуссией, но это не была и лекция. Как я понимаю теперь, я был свидетелем рождения «арабесок» (см. выше), ибо эта форма дискурса была адекватна характеру размышлений Кузнецова. И фактически, Б.Г. не учил и не информировал меня, его рассказ – без специального намерения – порождал во мне какие-то мягкие, незатухающие и совсем не обязательные ассоциативные процессы. В годы студенчества меня интересовали совсем другие научные проблемы, но когда я в конце 60-х работал над кандидатской диссертацией по использованию факторного анализа при изучении личности человека, я, по рекомендации известного советского психолога Б. Г. Ананьева, попытался рассмотреть генезис этого математико-статистического метода. И здесь во мне стало «просыпаться» услышанное от Кузнецова.

Последующие после защиты три десятилетия я занимался далекими от истории науки вопросами, но все равно, бывая в Москве, я заходил к Кузнецову, часто получал его новые публикации и слушал его новые арабески. И – совсем неожиданно для себя, через два десятилетия после смерти Кузнецова, уже живя в Америке, и – не планируя этого – погрузился в изучение становления и эволюции американских опросов общественного мнения и развития послевоенной советской социологии, тогда во мне ожила память о беседах с Б.Г., и я стал снова перелистывать его книги. Я привез их с собой, не предполагая заниматься историей науки, а лишь как память о нем. Прошедшие полтора десятилетия показали, что в моих исследования мне более, чем тексты Кузнецова, нужно мысленное общение с ним, пребывание в поле его интеллектуального и человеческого обаяния.

Теперь обратимся к воспоминаниям о Кузнецове, сначала – двух ученых, тесно общавшихся с ним, знавших его работы и глубоко понимавших их научное и культурологическое значение.

Уже само название эссе В. Я. Френкеля, написанного к 90-летию Б.Г: «Высоких званий не имел, но было имя» [1], подчеркивает сущностное в личности и деятельности Кузнецова; его имя не было обременено описанием должностей, степеней и званий (хотя все это он имел до достижения 40 лет), но было известно *лишь* благодаря служению науке. Виктор Яковлевич Френкель – доктор физико-математических наук, профессор, физик и историк физики, сын выдающегося советского физика Я.И. Френкеля, отлично понимал масштаб и значение исследований Кузнецова и часто бывал у него дома в обеих квартирах и очень зримо описал оба кабинета Б.Г. В «старом» – огромный, во всю длину комнаты, стол, вдоль которого Б.Г. перемещался в течение недели. Добавлю, никакого монументально-профессорского кресла не было, чтобы держать спину, он тогда работал, сидя на, по-моему, небольшой круглой табуретке. В «новой» квартире они беседовали на диванчике «за сундучком». Френкель писал: «большой кованый сундук, с которым, думалось мне, отправлялись в дальние путешествия в конце XVIII — начале XIX века. Что находилось в нем (рукописи?) — я так и не узнал». Ничего особенно там не находилось, когда я приезжал, то держал в нем выдававшиеся мне подушки, одеяло и прочее.

По наблюдениям Френкеля, главным для Кузнецова-историка было проникновение в труды классиков естествознания. Чтение этих работ выстраивало в длинные логические или же ассоциативные ряды (цепочки) мысли великих ученых и философов. Память у него была удивительной, раз прочитав чью-либо заинтересовавшую его работу, он запоминал ее навсегда — со всем богатством содержащихся в ней мыслей и наблюдений. Сравнение и сопоставление их, обогащенное собственными идеями, составляли основу его работ. Он любил пересказывать прочтенную в одной из книг о Моцарте фразу о том, что великий композитор обладал способностью в одно краткое мгновенье — озарение — услышать всю еще не написанную им симфонию. И далее: «Можно сказать (разумеется, правильно понимая масштабы личностей), что в результате подсознательных и вполне сознательных размышлений об интересовавших его на данный момент вопросах Борису Григорьевичу тоже являлась в один миг охваченная его мыслью будущая книга. После чего оставалось только ее написать!».

Владимир Семенович Кирсанов, сын многолетнего друга Б.Г. поэта Семена Кирсанова, знал Кузнецова с детства. Он стал физиком, защитил кандидатскую диссертацию, а потом под влиянием бесед с Кузнецовым серьезно углубился в историю науки и защитил докторскую диссертацию по материалам анализа рукописей Ньютона. В преддверии столетия своего наставника и старшего друга Кирсанов писал: «Есть люди, само существование которых может рассматриваться современниками как редкая удача, счастливое совпадение. Их значение выходит далеко за рамки опубликованных книг и конкретных научных результатов. Присутствие такого человека в профессиональном коллективе – залог здорового климата, предпосылка творческих удач. В советской истории науки таким человеком был Борис Григорьевич Кузнецов» [2]. Приведу слова Кирсанова об отношении Б.Г. к своим коллегам: «Борис Григорьевич был человеком необычайно общительным, деятельным и доброжелательным, я бы даже сказал, деятельно-доброжелательным. Он не писал отрицательных рецензий и помогал людям, если мог. Благодаря Б.Г. в нашем институте появился Юшкевич, благодаря Б. Г. Кедров стал директором <...>. Он помогал Полаку после его возвращения в Москву из лагеря, Библеру, когда у того не сложились отношения с начальством в Институте всеобщей истории, да всего и не перечислить». При этом, замечу после войны никаких высоких должностей

Кузнецов не занимал в Институте истории естествознания и техники АН СССР. И закончу цитирование эссе Кирсанова его словами о природе творчества Кузнецова: «...мне кажется, если придерживаться высоких критериев, то его нельзя назвать ни историком науки, ни философом в строгом смысле этого слова — он был, прежде всего, и по преимуществу профессиональным мыслителем, — т.е. человеком, основной смысл жизни которого заключался в постоянной работе мысли; предмет обдумывания мог быть самым различным, он менялся от времени ко времени, потому так сложно четко обозначить его специальность в привычном для нас наборе терминов. Была ли наука (в первую очередь физика) предметом его интересов? Да, конечно. А философия? И, безусловно, философия. И история, и экономика, и логика. И еще многое другое, например, жизнь, смерть, любовь, понимаемые не просто как философские категории, а как нечто большее». В моем понимании, все сказанное Владимиром Кирсановым открывает многие грани образа Кузнецова, раскрывающие смысл слов «человеческое обаяние».

Под влиянием Кузнецова историками физики стали еще два исследователя, начинавших свой путь в науку как физики. С ними, обратив внимание на их публикации, я познакомился в этом году в веб-сети при работе над биографией Б.Г.

Отправив 6 марта по электронной почте письмо Сергею Ростиславовичу Филоновичу, я через несколько дней получил очень информативный для меня ответ: «Очень рад Вашему письму: оно как бы весточка о человеке (и даже семье), который мне бесконечно дорог как друг и учитель. С Борисом Григорьевичем я был знаком и, тешу себя надеждой, дружен в течение многих лет. Примерно с 1970 года до его смерти. Борис Григорьевич и Римма Леонидовна [БД: Р. Л. Нарышкина – жена Б.Г . Кузнецова] входили в большую компанию московской интеллигенции, членами которой были и мои родители, а когда я подрос, стал и я. В нее входили преимущественно (но не исключительно) художники и искусствоведы (в частности, Д. Краснопевцев, И. Г.Меркурова, Н. М.Костина). Встречались в разных домах, в том числе и на Песчаной у Кузнецовых. <...> В свое время я даже переводил статьи Б.Г. на английский язык (в частности, его работы по необратимости времени). Благодаря Б.Г. я начал сотрудничать с сектором истории физики и механики ИИЕТ, где в конечном счете защитил докторскую диссертацию. Он же был «крестным отцом» моей первой книги, которая вышла в свет, когда мне было 26 лет».

Уже после выхода первых моих статей о Б.Г я познакомился с живущим в Америке историком физики Геннадием Гореликом, который в своем первом письме мне о сообщил о Кузнецове: «Еще студентом я читал его статьи и книги, а лично познакомил с ним меня мой доброжелатель и его почитатель, трудяга историк науки У. И. Франкфурт, вскоре после того, как я стал «соискателем» в ИИЕТе. Б.Г. неожиданно тепло отнесся ко мне и к моим первым шагам в истории науки. Не раз я был у него дома, беседовали о науке и жизни, в сопровождении изысканного ликера. И еще более неожиданно предложил мне написать научно-популярную книгу на тему диссертации. Это была моя первая книга «Почему пространство трехмерно?» <...> Очарование его личности, восхитительная ирония, глубина и живость мысли живут в моей душе». И через несколько дней, после ознакомления с первой частью данной статьи: «...огромное Вам спасибо за возможность ближе познакомиться с человеком, о котором всегда помнил с большим теплом, но только сейчас осознал его значение в моей жизни. Я всегда думал, что у меня не было «научного руководителя»: формальный руководитель подписывал все нужные бумажки, но был для меня лишь очевидцем советской истории. Теперь же, прочитав Вашу статью и поразмыслив над собственными воспоминаниями и некоторыми архивными документами (вроде стенограммы защиты), понял, что своим научным руководи-

телем могу и хочу считать Б.Г. Его совершенно неформальное и очаровательное воздействие было вдохновляющим, освобождающим и подстрекающим к нахально-смелым вопросам».

Я уже достаточно продолжительное время знал Линн Виссон (Linn Vysson), переводчицу ООН, когда 1 июля 2012 года получил от нее «мейл» со словами: «Между прочим, забыла Вам сказать, что я перевела книгу Б.Г. «Разум и бытие» (Reason and Being)». Потом оказалось, что Линн знала также жену и брата Б.Г. А вообще они познакомилась еще в октябре 1968 г., когда Б.Г. приезжал в Бостон для участия в конференции “Development of Modern Science”, проводившейся American Academy of Arts and Sciences. Поскольку английский, французский и русский – родные языки Линн, и она – специалист по русской поэзии, в разное время я спрашивал ее, говорила ли она с Б.Г. по-французски и какую поэзию он любил. Линн ответила, что он отлично говорил по-французски, а вот ее ответ на мой другой вопрос: «А насчет поэзии – он знал, что я писала о Есенине, не скрывал, что от него далеко не в восторге! Без энтузиазма также относился к Пастернаку. Но любил Пушкина, кое-что даже знал наизусть. Неплохо относился к военным поэтам – Самойлову, Симонову».

А в 2013 году Линн познакомила меня со своей давней подругой, российским лингвистом и переводчицей **Леонорой Александровной Черняховской**, которую ее московские друзья просили позаниматься с Б.Г. разговорным английским, они говорили на многие общие и профессиональные темы и подружились. Лишь нехватка места ограничивает мое цитирование щедрых воспоминаний Черняховской о Б.Г., отберу лишь то, что напрямую соотносится с замыслом этого параграфа, надеясь на то, что позже смогу использовать и многое другое.

28 сентября 2013 г.: «Я даже не могу сформулировать, в чем был его магнетизм. Он поразил меня, с самого начала, своей эрудицией. Я таких людей не встречала ни до, ни после знакомства с ним. И очень увлекательный собеседник, сам тоже очень увлекающийся. И потрясающее чувство юмора, и обширнейший круг интересов. О чем только мы с ним не беседовали! Мы ведь не сразу перешли к отношениям учитель-ученик. Вначале просто разговаривали на всякие темы, например, он очень ярко и с юмором описал историю, в результате которой его кот Василий, который был неизменным молчаливым участником наших встреч, стал именоваться «фокстерьер Вася Кузнецов». (Если интересно, расскажу потом.). Но главное, конечно, что меня потрясало и завораживало – это его удивительно широкий кругозор, глубина его знаний».

Несколько позже я получил такую историю: «Однажды летом, когда были открыты все окна, Вася решил прогуляться по карнизу вдоль фасада (очень узкому, кстати). А в кабинете Б.Г., откуда он начал путешествие, почему-то окно закрыли. И он решил завершить поход в кухне соседей, впрыгнул в окно, на кухонный стол. А там стоял таз со свежесваренным вареньем, еще горячим, и Вася угодил прямо в варенье! Бедному коту нужна была срочная помощь. Б.Г. стал звонить в ветеринарную клинику, чтобы срочно вызвать врача на дом. А ему сказали, что на дом они посылают врачей только к собакам, а к кошкам – нет. Такая вот дискриминация. Когда Б.Г. описал им ситуацию, они сами ему посоветовали оформить вызов как к собаке. Назвали Васю фокстерьером, потому что небольшого размера животное, спросили адрес и фамилию владельца, и завершили разговор так: «оформлен вызов по такому-то адресу (дело было на Соколе), к пациенту фокстерьеру Васе Кузнецову». Так это имя к нему и приклеилось навсегда!»

2 октября 2013 г. «О Б.Г. : Насчет магнетизма Вы, конечно, правы. Я тогда не анализировала ничего, была очень увлечена и своей работой, и вдруг неожиданно открывшимся мне удивительным собеседником. <...> мне кажется, нас объединяло

стремление к свободе. Я не знала тогда подробностей его биографии в молодые годы, но он часто говорил о том, что сожалеет, что наши временные пласты пересеклись так поздно. (У Брэдбери есть на эту тему рассказ, кажется, «вино из одуванчиков», но точно не помню, о странной дружбе старушки и подростка.) <...> Сейчас, когда Вы написали мне о любви Б.Г. к свободе и о некоторых подробностях его биографии, которые я не знала, я понимаю, что кроме научных интересов, нас объединяло некоторые черты характера. Тогда я об этом, конечно, не думала. Мы это и не обсуждали. Как ни странно теперь вспоминать, на личности никогда не переходили. <...> Наше общение продолжалось года с 1977 или 1978, точно не помню, и продолжалось до ухода Б.Г. Когда я ехала в автобусе со стоящим рядом гробом, я понимала, что это не просто человек ушел, а завершился громадный пласт и моей жизни. И так оно и было».

* * *

Вскоре после смерти Б.Г. я спросил его брата Мусю (Моисея) – повторю, они были двойняшками, всегда были дружны и бесконечно внимательны друг к другу, часто ли он ходит на кладбище... его ответ я не могу забыть: «Зачем? Ведь это не Боречка...». Боречкой был тот, чей голос, смех, улыбку, всегдашнюю погруженность в какой-то лишь ему знакомый мир... не отпускала память Муси. И, конечно же, в книгах брата он прежде всего видел его самого.

Завершая предисловие к названной выше книге «Идеалы современной науки», Б. Г. Кузнецов писал: «... историк современной науки находится в привилегированном положении: он может не только читать статьи и книги своих героев, но и беседовать с ними» [8, с. 5]. Работая над этой статьей, я находился в «особо» уникальном положении: я читал и перечитывал некоторые статьи и книги моего героя и беседовал с ним. И эти мысленные беседы были продолжением многих и многих реальных. Пусть, поначалу, в силу возраста, а потом – из-за отсутствия необходимых знаний и научного опыта, я далеко не все понимал. Все равно, я находился в поле его интеллектуального и человеческого обаяния, которое не исчезает, но наполняется новым пониманием. Так случилось, что под влиянием Б.Г. я стал заниматься историей социологии и одним из важнейших инструментов методологии моего исследования стало общение с моими героями.

Почти четыре года сбора информации о жизни Б.Г., перечитывание его важнейших книг – были чудесным временем общения с ним, он начал по-новому раскрываться мне в этих мысленных диалогах. Кузнецов занимался эволюцией фундаментальной науки, и его героями были гении мысли и духа. Мало кто рискнет зайти в это исследовательское пространство. Но отношение Б.Г. Кузнецова к процессу познания и раскрытия мира ученых – урок для всех, кто пытается заниматься историей науки.

ЛИТЕРАТУРА

1. Френкель В. Я. Высоких званий не имел, но было имя // Вестник Российской Академии Наук. Том 63. № 10. 1993, с. 903–908.

2. Кирсанов В. С. Слово о Борисе Григорьевиче Кузнецове. Исследования по истории физики и механики: [ежегодник] / Редкол.: А. Т. Григорьян (отв. ред.) и др. АН СССР. Ин-т истории естествознания и техники. — М.: Наука, 1985 http://litbook.ru/article/7359/

3. Kuznetsov B.G., Reason and Being. Boston: D. Reidel Publishing Co., 1987.

4. Илизаров С.С. В.И.Вернадский: Диалоги с историками науки // В.И.Вернадский – историк науки: к 150-летию со дня рождения / Тезисы докладов Международной научной конференции (Москва, 22 января 2013 г.). М.: ИИЕТ РАН, 2013.

5. «Бессмертие мыслителя, как условие и как часть бессмертия научных представлений» Блог А.Н., 14 октября 2013 г. http://www.cogita.ru/a.n.-alekseev/publikacii-a.n.alekseeva/abbessmertie-myslitelya-kak-uslovie-i-kak-chast-bessmertiya-nauchnyh-predstavleniibb

6. Кузнецов Б.Г. Встречи. – М: Изд-во «Наука». 1984.

7. Докторов Б., Козлова Л. Захочет ли граф Калиостро посетить моих героев? http://www.unlv.edu/centers/cdclv/archives/Comments/doktorov_kozlova.html.

8. Кузнецов Б.Г. Идеалы современной науки. – М.: «Наука». 1983.

9. Кузнецов Б. Путешествия через эпохи. Мемуары графа Калиостро и записи его бесед с Аристотелем, Данте, Пушкиным, Эйнштейном и многими другими современниками. – М.: «Молодая гвардия», 1975.

10. Кирсанов В.С., Филонович Р.С. Б.Г. Кузнецов – историк науки, философ, экономист // Вестник РАН №3, 1986, с. 111–113. http://www.ras.ru/publishing/rasherald/rasherald_articleinfo.aspx?articleid=c5e8d650-0d89-4a44-b3b2-5835ed120c2c

11. Кузнецов Б. Эйнштейн. – М.: Изд-во АН СССР. 1963.

12. Кузнецов Б. Декарт и русская наука // «Правда», №211 от 2 августа 1937 г. *http://www.oldgazette.ru/pravda/02081937/index1.html*

13. Кузнецов Б., Тайц М. Об «организационном капитализме». Харьков: Пролетарий, 1930.

14. Мессерер С. Суламифь. Фрагменты воспоминаний. Олимпия-Пресс. – М.: 2005.

15. Михаил Мессерер: «Людям становится не до шуток» http://www.dp.ru/a/2012/08/20/Mihail_Messerer_Ljudjam_s/

16. Кузнецов Б. Единая высоковольтная сеть СССР в перспективном плане электрификации. – М. – Л., Гос. соц.-эконом. изд-во. 1931.

17. Кузнецов Б. Г. Исторические корни работ Фарадея / История техники. – М.-Л., 1934. – Вып. 2. – С. 22–56.

18. Волков И. К марксистской истории техники. // Под знаменем марксизма. 1935, №3. С. 163–169 http://istmat.info/files/uploads/51898/pod_znamenem_marksizma_1935-3.pdf.

19. Илизаров С. С. Неизвестное о малоизвестном: Т.И. Райнов и В.И. Вернадский // Материалы к биографиям ученых и инженеров. ВИЕТ. 2013. No 4. С. 97–137 http://vietmag.org/wp-content/uploads/97-137_Ilizarov.pdf.

20. Иоффе А. Ф. Альберт Эйнштейн // Успехи физических наук, 1960, Т. 71, 1, с. 3–7; цитируется по http://pskgu.ru/ebooks/ioffe/ioffe_8_04.pdf.

21. Кузнецов Б. Г. Великий инженер (Иван Гаврилович Александров) // Электричество. 1936. №10. С. 15.

22. Илизаров С. С. Кот, который ходит сам по себе // 80 лет Институту истории науки и техники. 1932 – 2012. Под общей ред. В.М. Орла. – М.: Изд-во «РТСофт». 2012, с. 138–141.

23. Кузнецов Б. Г. Очерки истории русской науки. – М.-Л.: Изд-во АН СССР. 1940.

24. Вернадский В. И. Дневник 1938 г. http://you1917-91.narod.ru/vernadskiy_dnevnik1938.html.

25. Кривоносов Ю. И. Институт истории науки и техники: тридцатые – громовые, роковые... // 80 лет Институту истории науки и техники. 1932 – 2012. Под общей ред. В.М. Орла. – М.: Изд-во «РТСофт». 2012, с. 60–87.

26. Materialy samizdata: Samizdat materials, Issues 22–35. Ohio State University, Center for Slavic and East European Studies, 1987 https://books.google.com/books?id=643wAAAAMAAJ.

27. Музрукова Е. В., Чеснова Л. В. Советская биология в 30–40-е годы: кризис в условиях тоталитарной системы // Репрессированная наука. Вып. II. Под общей ред. проф. М. Г.Ярошевского.СПб.: «Наука». 1994. http://www.ihst.ru/projects/sohist/os2.htm.

28. Кузнецов Б. Г. Спиноза [фрагменты рукописи] // Природа, 11, 1985 http://caute.ru/spinoza/rus/kuzspi.html.

29. Кузнецов Б. Г. Разум и бытие. – М.: Наука, 1972. Материал любезно предоставлен мне Архивом ИИЕТ РАН.

30. Кузнецов Б.Г. Патриотизм русских естествоиспытателей и их вклад в науку: Беседы по истории, отечественного естествознания. – М.: Издание Моск. Об-ва испыт. природы, 1951.

31. Комаров В. Л. «О задачах института истории естествознания АН СССР» // Вестник Академии наук СССР. № 1–2.

32. Кривоносов Ю. И. Б.Г. Кузнецов – письма вождям. В сб. : Исследования по истории физики и механики, 2004. – М. : Наука : 2005.

33. Сонин А. С. Газета «Красный флот» против идеализма в физике // Вестник РАН, 1991, т.61, №1, с.113–122 http://www.ihst.ru/projects/sohist/papers/son91vr.htm.

34. Сонин А.С. Несколько эпизодов борьбы с «космополитизмом» в физике // Вестник РАН, 1991, т.61, №12, с.103–114. http://ihst.ru/projects/sohist/papers/son91vr3.htm.

35. Максимов А. А. Против реакционного эйнштейнианства в физике // Красный флот. 1952. 14 июня.

36. Илизаров С. С., Пушкарева Л. И. Берия и теория относительности http://www.ihst.ru/projects/sohist/document/letters/fock52.htm.

37. Мамчур Е. А. Еще раз о предмете социальной эпистемологии // Эпистемология и философия науки. 2010. Том XXIV, №2. С. 44–53. http://www.intelros.ru/pdf/eps/2010/02/04.pdf.